

Борис Минаев

Площадь Борьбы

Роман

На этих кладбищах было похоронено столько безымянных предков, дедов и прадедов, каких-то никогда не виденных нами стариков, что эта земля казалась русской не только сверху, но и вглубь, на много саженей...

Константин Симонов

Зайтаг

Светлана Ивановна Зайтаг, библиотекарь, перестала спать в 1930 году, в июне.

Это не было связано с ее личной жизнью, с жизнью страны, с каким-то особым событием или неприятным происшествием, или вообще с чем-то психиатрическим.

Как потом выяснилось, была у нее такая болезнь, воспаление нервных окончаний где-то в каком-то отделе ее головы, не ведущее ни к каким другим последствиям, кроме одного — у нее пропал сон.

Она пролежала ночь, думая о Лёшеньке, о его будущем и глядя в светлое июньское окно (ночи в это время в Москве очень короткие). Наверное, бессонница возникла в связи с его отъездом на дачу вместе с «группой». Такие «группы», поскольку детских садов не хватало, устраивали интеллигентные московские женщины, устраивали сами — и в городе, и летом за городом... Предполагалось, что их маленькая «группа» должна летом выехать и жить в поселке Кратово. Что-то вроде частного детского садика.

Совместно нанимали воспитательниц, желательно из «бывших» (Светлана Ивановна и сама могла бы стать такой воспитательницей, поскольку считала себя «бывшей», но тщательно это скрывала), то есть тех, которые могли учить французскому, например, или немецкому, прививать манеры, да и обладать неким общим пониманием, как жизнь устроена, — в этом смысле нянькам из деревни вполне довериться было нельзя.

Минаев Борис Дорианович — журналист, писатель, издатель. Родился в 1959 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ (1981). Автор книг прозы «Детство Лёвы» (2001), «Гений дзюдо» (2005), «Мужской день» (2009), «Мягкая ткань. Батист» (2015), «Мягкая ткань. Сукно» (2016), «Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х» (2018). Живет в Москве.

В «ДН» ведет театральную рубрику «Правила игры».

Журнальный вариант.

И вот Светлана Ивановна всю ночь думала о том, не договориться ли ей и не поехать ли в Кратово вместе с Лёшенькой. Библиотека в июле закрывалась на несколько санитарных недель, все как-то удачно складывалось... И вот так она пролежала до утра, не смыкая глаз.

Встала разбитая, злясь на себя — ведь можно же было накапать капли или, в конце концов, попарить ноги, ну что-то такое, теперь весь день пойдет насмарку, но утром она как-то пришла в себя, сварила яйца и кашу, отвела Лёшеньку в ту самую «группу», в дом на Минаевском тупике, где проживала их бонна, Маргарита Васильевна Шнауп, у которой муж когда-то служил по жандармерии, но об этом все давно забыли, муж пропал, а она осталась, все уважали ее благородную внешность и умение одеваться, а самое главное — умение понимать жизнь; выезд в Кратово ее волновал так же, как и Светлану Ивановну, и всех других мам; Зайтаг долго стояла в прихожей, сняв с Лёшеньки пальто и держа его в руках, и долго с Маргаритой Васильевной говорила об этом — и то, что ночью ей виделось в каком-то тревожном, даже истерическом свете: вот Лёшенька один, в темной комнате, все его бросили, все ушли жрать и пить, а он один лежит больной, с температурой, и плачет — все это утром сразу стало смешным. Обсуждались со Шнауп и другими мамами очень важные, даже оптимистические, научно-гигиенические детали: как дети поздоровеют на деревенском молоке и твороге, будут *ходить босиком* (а это очень важно), что рацион их будет составлен по точным врачебным рекомендациям (бонна советовалась с педиатром)... Словом, Светлана Ивановна ушла от Шнауп успокоенная и медленно побрела в библиотеку, надеясь сегодня лечь пораньше и выспаться как следует.

Но выспаться ей не удалось.

Светлана Ивановна действительно легла пораньше, выпила горячего молока, начала считать верблюдов, но, досчитав до тысячи, легко встала и выглянула в окно.

Тихий рассеянный свет шел из июньского сада.

Она накинула шаль и, ощутив какую-то странную эйфорию, спустилась с крыльца в сад в ночной рубашке и в тапочках. В доме все, слава богу, спали, и она добрела до забора, посидела на скамейке, покурила. Летняя ночь была перед ней, и она подумала, что, может быть, и не стоит даже спать в такие ночи.

Открыла книгу, ей казалось, что она задремала, но около шести утра по улице прошли первые молочники, и она вдруг подхватила и принялась готовить завтрак.

Молочник Кузьма приходил всегда в семь, и вот она решила, что, когда он придет и принесет свежий творог и сметану, она уже попьет кофе, поджарит на сковородке горячий хлеб и будет опять читать книгу, ожидая его.

Примерно за пятнадцать минут до прихода Кузьмы Зайтаг почувствовала легкое покалывание в висках и раздражение, которое увеличивалось с каждой секундой. *Зачем* она встала так рано? Что она будет делать дальше, как ей усмирить свой организм?

Она буркнула Кузьме что-то невнятное, сунула ему деньги, он ушел, недоумевая, она же с отвращением разжевала ложку творога и расплакалась.

Болело все тело. Все валилось из рук, и уже следующую ночь Светлана Ивановна ждала с замиранием сердца.

Пролежав всю эту третью ночь в тоске и страхе, затравленно глядя в потолок и повторяя про себя, что она не боится, не боится, не боится, утром Светлана Ивановна поняла, что должна все же сходить к врачу. Потом она провела без сна еще одну ночь и наконец решилась.

Одного частного врача она хорошо знала лично. Это был женский врач Кауфман, он жил недалеко, на Площади Борьбы, в высоком кооперативном доме, который гордо возвышался над садом Туберкулезного института.

Рано утром она робко позвонила в дверь, и он принял ее.

Кауфмана она посещала к тому времени уже лет шесть и посещала регулярно, раз в полгода, испытывая зудящий страх перед женскими болезнями, но в любом случае общаться с доктором было всегда приятно — он обладал как будто бы *излучением*, то есть, не говоря ничего особенного, он вливал в Светлану Ивановну заряд покоя и даже радости, наверное, это было из-за его глаз, больших и темных, которые всегда смотрели с библейской мудростью и прямоотой, а вообще-то он был смешной, рассеянный, немного наивный, и она всегда приходила к нему без всякого страха, а наоборот, с надеждой. Он выслушал ее спокойно и сказал: дорогая Светлана Ивановна, это бывает, надо пить успокоительные капли, гулять, пить молоко с медом, нет, не пробовали?

Тогда она, пытаясь не рассердиться (в этот раз он впервые ее рассердил), сказала: она уже не девочка и прекрасно понимает, что такое бессонница, но это явно не бессонница — ей по-настоящему плохо; что ж, смутился он, давайте обратимся к невропатологу, и тут же набросал на клочке бумаги письмо, с которым она отправилась в городскую больницу под названием «Медсантруд», располагавшуюся на Яузской улице, недалеко от Таганки, куда ей пришлось долго добираться на трамвае.

Ее принял доктор Вишняк, зав. отделением, чем-то похожий на Кауфмана, но более рыжеватый и сухой и внимательно выслушал. (Голова у нее к концу пути совершенно разболелась.) Из коридора доносились какие-то крики, и тут она почувствовала себя еще хуже. Ей стало нехорошо.

Поймав ее взгляд, Вишняк сказал: ой, я вас умоляю, не обращайтесь внимания, у нас не психиатрия, ничего такого... тут молодой человек один, небольшое расстройство... а вы... скажите, Светлана Ивановна, вы сильно не простывали в последнее время?

Но нет, она не простывала, она не страдала тяжелыми инфекционными болезнями, у нее не было стрессов, крупных неприятностей, драм в личной жизни (нет-нет-нет), ни у каких родственников никогда не было ничего подобного — нет, она просто не может заснуть.

Хм, сказал Вишняк и подошел к окну.

Скажите, а когда ваш мальчик уезжает в это самое Кратово? — рассеянно спросил он, не отрывая взгляд от окна, и она вздрогнула, потому что не помнила, когда успела ему это рассказать, но, видимо, когда-то успела, боже ж мой, как все напутано у нее в голове, да-да, ответил он меланхолично, видимо, почти читая ход ее лихорадочных мыслей, вы мне об этом уже рассказали, так когда? — В эту среду. — Так, сказал он... ну, знаете что, вы уж как-то дотерпите до среды, отправляйте мальчика в надежные руки на природу, а потом соберите домашнюю одежду, ложку, зубную щетку и приходите ко мне на обследование, ляжете на несколько дней, отдохнете, может, сон и наладится.

Она так и сделала.

Сама больница, с ее запахом тоски и одиночества, сами эти голые белые стены и огромные потолки, невероятных размеров окна, впускавшие солнце через грязноватые стекла и побеленные рамы (больница располагалась в огромном бывшем поместье), и то, что здесь так рано вставали и так рано ложились, ее бесконечные, просто бесконечные прогулки в больничном саду (ну не сидеть же в палате с этими старухами), скудное, невкусное, но правильное питание, наконец, какие-то таблетки, которые она глотала горстями и которые действовали на нее отупляюще, снимали боль в висках (вообще она чувствовала себя здесь бесплотной, нереальной и невесомой) — все это *должно было* заставить ее заснуть, но она все равно никак не засыпала.

Нет. Она бродила по коридору и тихо скулила по ночам.

Потом выходила в больничный сад и думала: а может, уйти отсюда совсем?

Москва дышала рядом, шелестела редкими машинами, цокала копытами, перекликалась приглушенными голосами — там, за оградой. Она смотрела на освещенные

окна больничного флигеля, где жили врачи, и думала: как же им хорошо. Они не спят, потому что не хотят! Сами!

Хм, сказал Вишняк вторично, когда она пришла к нему после трех дней такой жизни. Еще через день ее повезли на каталке, раздев донага, под чистой, выглаженной, даже еще теплой белой простынею в какой-то далекий кабинет, где лаборант, краснея от застенчивости, прилаживал к ее голове контакты на липучках, потом плотно стягивал металлическое кольцо вокруг головы, потом включал аппарат, горели лампочки, аппарат гудел, а она от страха закрывала глаза и боялась описаться.

Хм, сказал Вишняк в третий раз, когда она опять пришла к нему рано утром, до завтрака (она всегда приходила до завтрака). По дороге она посмотрела в зеркало, лицо, ей показалось, было, как у ведьмы, немного синюшное и осунувшееся, торчали патлы, из домашнего халата высовывалась жилистая страшная шея, похожая на змею, может быть, лучше не жить, чем жить в таком виде, но она открыла дверь и спокойно вошла, хм, сказал Вишняк, держа перед глазами листки, *заполненные* старательным лаборантским почерком, знаете, а все оказалось сложнее, чем я думал, конечно, наука пока... не может ответить на все вопросы, но, судя по всему, это воспаление нервных окончаний, кора головного мозга... дальнейшее слилось в некое бу-бу-бу... которое я подозревал, к сожалению, подтвердилось. И что, задыхаясь от волнения, спросила она, какие последствия, вообще, сколько мне осталось жить? Вам? — расхохотался Вишняк, да вам еще жить и жить, нет, Светлана Ивановна, все не так ужасно, но *вот* спать... спать, наверное, вы все-таки будете плохо.

То есть как это — «плохо»? — холодея от неприятных предчувствий, спросила она; послушайте, развернулся Вишняк от окна и решительно сел напротив, не нужно бояться — дальше он долго излагал теорию сна, которая вкратце сводилась к тому, что совершенно непонятно, для чего и под влиянием чего человек спит, и что на самом деле с ним происходит во сне, возможно, в будущем люди смогут заполнить это совершенно пустое время чем-то другим, а возможно, бессвязные картинки, которые они сейчас видят во сне, будут воспроизводить какие-то приборы, то есть, грубо говоря, к голове человека будет подключаться какой-то экран, и он будет просто общаться с теми, кого хочет увидеть... господи, какой ужас, непроизвольно сказала Светлана Ивановна, и Вишняк так же непроизвольно рассмеялся, одним словом, Светлана Ивановна, завершил он уже другим голосом, тише и печальней, ситуация такая: я пропишу вам все необходимые лекарства, но если через неделю вы не заснете, я настоятельно рекомендую таблетки снять и жить, как вы жили и раньше, только... Что — «только», спросила она, говорите уже наконец. Только теперь ваша жизнь не будет так резко разделена на эти два промежутка, понимаете, вы будете как бы в одном состоянии, полусна-полуяви, но ничего страшного в этом нет, организм когда-то приспособится, и вы сами привыкнете, вам будет казаться, что вы заснули, или будет казаться, что вы проснулись, но не стоит на этом фиксироваться, углубляться в проблему, считайте, что вы такой человек, ну, скажем, не совсем обычный, вот и все, это редкая, да, но в целом заурядная болезнь, как я уже говорил, *вызванная* не тем, что вас кто-то за что-то наказал, что вы такая особенная, нет, вы не лунатик, не сомнамбула, не тень отца Гамлета, вы просто человек, который больше бодрствует, чем спит, понимаете?

— То есть я не буду ходить по крышам? — серьезно спросила она.

— Нет, — серьезно ответил он.

Чтобы ее утешить, в конце беседы Вишняк произнес несколько довольно загадочных, как ей показалось, фраз: он сказал, что, вероятно, она заснет однажды, без всяких усилий, сама, это произойдет под влиянием неведомых, недоступных пока науке закономерностей, накопится усталость или что-то там такое в голове... — он щелкнул пальцами, не в силах подобрать нужных слов, — и вы заснете, сами не понимая, как...

— Ну а если у вас будут вопросы... — сказал он уже обычным голосом и нервно оглянулся на дверь, в коридоре, наверное, давно скопилась к нему небольшая очередь, — ...приходите тогда ко мне.

Она сухо кивнула и вышла.

Постепенно Зайтаг поняла, что Вишняк ни в чем не ошибся, и записи, сделанные лаборантом, увы, отражали истинное положение дел.

Она научилась не спать.

Пожалуй, это само по себе было похоже на сон — сон без сна, где она была одновременно и субъективным «Я», и объективным «не-Я», сама для себя — героем и персонажем, который вел себя, откровенно говоря, по-разному, например, первое время она могла разрыдаться от напряжения, неожиданно, в любом месте, как если бы только что потеряла любимого человека: в булочной, в библиотеке, на своей службе (это чаще всего) или дома, сидя у окна, или на улице, в трамвае, или даже в театре, впрочем, всякого рода мероприятия, театры, концерты она посещать перестала — это было как бы чересчур, мир и так стал для нее киносеансом, она видела то, чего не видела раньше, например, глаза — глаза у людей стали более яркими и глубокими, всматриваясь (в ответ) в чей-то пристальный взгляд, она «застревала», настолько говорящими и порой страшными бывали эти взгляды — из глубины, такой глубины, о которой сами люди даже не подозревали; эти случайные взгляды ее затягивали, она поспешно отводила глаза, но и этих секунд было достаточно. Для нее изменились и звуки, какая там консерватория, какой «концерт для фортепьяно с оркестром»: трамвай грохотал над ней, как апокалипсис, птицы рассаживались прямо у нее в голове, чтобы поговорить о Библии или о «Капитале» Маркса, она слышала их реплики, и они ее иногда ужасали, а иногда смешили. Когда приходил вечер, а за ним ночь, она начинала слышать буквально все, что происходило не только в соседних комнатах, но и во всем доме, а ведь ее отделяли коридоры, стены и квадратные метры, и другие комнаты, и опять толстые стены, но она все равно слышала, как встает ночью с постели жена капитана Новикова, как она перебирает его вещи на столе (зачем?), прижимается к горячему телу мужа, огромному здоровому телу, и заставляет его перевернуться на бок, чтобы он не храпел. Пораженная этими яркими картинками, которые она не видела, но *слышала*, Светлана Ивановна вскакивала в страшном возбуждении и выходила в сад, потому что слышать весь дом было нестерпимо, — но она все равно слышала: и кашель, и стон, и сладостные муки любви, и чтобы не слышать — она стала покидать дом в ночное время.

Днем вокруг нее были хотя бы другие, *официальные* звуки. Они не позволяли ей так глубоко погружаться в мир человеческих отношений, а ночью этот мир открывался перед ней чересчур откровенно, и она его стеснялась и боялась, как боялась глаз прохожих и боялась теперь свинцового неба над площадью Борьбы, над садом туберкулезного института, и она накидывала пальто, надевала туфли и шла, и шла, и шла...

Впервые выйдя ночью к Самотечному бульвару через этот самый сад, она вдохнула свежий воздух с горьковатым привкусом (шел сентябрь) — здесь ей было лучше!

Она шла по аллее, в темноте чувствуя взглядом и хорошо слыша шуршание травы, удивленные взмахи веток, обходя кучи мусора, принимая на себя кошачьи взгляды (все-таки они были не такие тяжелые, как у людей, хотя и дико светящиеся в темноте), — и понимала, что теперь так будет всегда.

Под утро, когда посветлело небо и она нашла себя уже где-то в районе Старой Басманной, Зайтаг вдруг поняла, что так теперь действительно будет всегда, что она стала отдельным человеком, который видит и слышит не как все, чувствует иначе,

и у которого свое, отдельное пространство и время. Сделав это открытие, она почему-то засмеялась, но не истерически, а даже радостно, влажный холодный до озноба воздух сентябрьского раннего утра, облежавший ее фигуру, рассеивался на тонкие слои, это был слоистый, нецельный, состоящий из тонких пластин мир. Пластины были... розоватыми, наверное, да, скорее, розоватыми, не каким-то нездоровым, активным, слишком телесно-розовым цветом, но слегка приглушенным; а солнце, которое выплывало постепенно из-за края крыш, — было черноватым, и она могла раздвинуть этот мир рукой совершенно свободно, чтобы войти внутрь, где было прохладно и спокойно, но она не хотела ни в какую нишу, а просто шла дальше.

Да, мир, открывавшийся в эти первые недели, был ей незнаком, он был похожим на тот, ее прежний мир, но только отчасти. Плотность звуков в нем бывала невыносимой, так же как и невесомость вещей и предметов, и только одно помогло ей в нем удержаться и к нему привыкнуть — это был Лёшенька.

В начале августа он вернулся из Кратово (сама она с «группой», конечно, не поехала), и начались трудные, но важные дни привыкания — теперь каждый шаг давался ей с гораздо большим трудом.

Именно тогда, в августе 1930 года она ясно осознала, насколько тяжелее ей стало двигаться и делать самые простые вещи. Пол в комнатах она теперь мыла по два часа. К приготовлению борща готовилась задолго, медленно расставляя в голове привычные стадии готовки — сварить свеклу, очистить и порезать лук, поджарить, положить в кипящую воду. Она читала по тетради рецепты, чтобы не забыть ничего, — и плакала от бессилия. Но, слава богу, сын этого не замечал.

Наконец началась школа, и ей стало полегче.

Теперь она могла просто сидеть на работе и смотреть в стену.

Ей тогда исполнилось тридцать два года. Она родилась в 1898-м. Этот «хвостик» в два года, зацепившийся в прошлом веке, почему-то не давал ей покоя, он казался чем-то стыдным, компрометирующим, как будто этот хвостик в два года сообщал всем о ее непролетарском происхождении...

Ее отцу, прибалтийскому немцу по рождению, Ивану Зайтагу, принадлежало полдома в Вышеславцевом переулке, где они жили одни, хотя когда-то отец собирался сдавать комнаты на втором этаже, подселять жильцов, но ничего из этого не получилось — он не успел.

Отец имел маленький магазинчик на Мясницкой, вход через арку с улицы, табличка была мелкая, дешевая, отец вообще был скуповат, суховат, необщителен; в магазине, одна половина которого торговала фарфором и фаянсом, другая — кухонно-скобяными изделиями, торговля шла с переменным успехом, но магазин приносил доход, и возможно, именно благодаря скуповатости Ивана Зайтага коммерческая удача ему сопутствовала, наконец, в 1913 году, взяв банковскую ссуду, он купил эти полдома, и они переехали из далекого пригорода — Купавны — в Москву.

В сущности, в этом и состояла его главная мечта: чтобы дочь получила образование и познакомилась с приличными людьми. Дело в том, что, будучи прибалтийским немцем, сам Иван Иоганнович Зайтаг не имел никакого наследства вообще, никакой семейной собственности, никакого родительского капитала — в годы неурожая все забрали бароны, которых он вспоминал недобрым словом, а может быть, его родители вовсе и не были немцами, а он скрывал это от нее (зачем?), а были они, например, простыми латгальцами или чухонцами, кто их там разберет.

Мать Светланы Ивановны погибла от скоротечной болезни, братьев и сестер не было, другие родственники жили не здесь — словом, они с отцом были в этом мире одни. Поэтому переезд из маленького домика в Купавне во 2-й Вышеславцев переулочек стал самым главным событием первой половины ее юности. В 1913 году они переехали, и она пошла в частную женскую гимназию Алфёровых (на Плющихе) — отец сам возил

ее туда на извозчике. В доме появилась новая прислуга, стали приходить гости, она подружилась с девочками из гимназии и порой гостила у них — то в Москве, то за городом.

Это были счастливые месяцы, которые быстро кончились вместе с войной.

В сентябре 1914-го начались погромы немецких магазинов охотнорядцами и другими патриотически настроенными гражданами. Отец откровенно рассказал ей о своих страхах — больше было не с кем поделиться, хотя Светлана Ивановна была еще подростком. Табличку патриотически настроенные граждане сорвали и разбили. Разбили и витрину, хотя она тоже была дешевая. Возможно, все это провернули соседи-купцы, отцовские конкуренты, нанявшие кого-то для грязного дела. Лавку от страха отец тут же закрыл и сразу открыл другую небольшую торговлю на рынке у Арбатских ворот — уже без всякой вывески. Полицмейстер потребовал от него встать на учет как немца, и отец беспрекословно встал.

Жизнь продолжалась, но из гимназии Зайтаг ушла — однажды, найдя в учебнике оскорбительную записку, тоже по поводу национальности, она попросила отца придумать что-то другое с образованием, и он с облегчением согласился: Алфёровская гимназия обходилась ему слишком дорого.

Не стало у них и прислуги. Светлана Ивановна сама стала больше времени уделять домашним делам. К ней приходили на дом учителя: студенты, многие из которых говорили ей отчаянные комплименты, но это ее почему-то оскорбляло, и она увольняла одних и нанимала других.

Все как-то скомкалось...

В 1913 году (или в 1914-м) в районе Александровской площади баронесса Корф построила на своем участке огромный и неказистый доходный дом (иногда его почему-то называли «кооперативным») в пять этажей. Дом как будто бы плыл над землей, немного странной формы, закругленный треугольник, отдаленно похожий на корабль, был виден отовсюду — соответственно, с его крыши тоже была видна, конечно же, «вся Москва»: старинный шпиль Сухаревой башни, красно-кирпичные водокачки у Крестовского моста, похожие на крепость, из тех, что рисуют в детских книжках, — ее дом утопал в саду, который примыкал к мрачному зданию Туберкулезного института, и осенью шум листвы и сухих веток становился таким огромным и многозначительным, что проходить мимо сада было как-то тревожно. А рядом с этим огромным садом, в маленьком особнячке с маленьким флигельком жила сама баронесса, которая редко, очень редко выезжала в экипаже в гости или по делам, вызывая всяческие кривотолки — о своих знатных родственниках, о большом наследстве, вложенном теперь в эту дорогую недвижимость, в «кооперативные квартиры», о своих далеких наследниках, ради которых, должно быть, все и было затеяно... Но вскоре все эти разговоры затихли, баронесса угасла, наследники потерялись, теперь это был просто один из новых московских домов, построенных аккурат перед войной и населенный уверенными в себе людьми, твердо стоящими на ногах, — адвокатами, инженерами, преподавателями и докторами. Частично они выкупали квартиры, а другая часть жильцов платила арендную плату, только теперь все это было неважно — потому что именно тогда, в 1914 году, когда толпа патриотично настроенных горожан пошла громить немецкие заведения (а их было немало по всему городу), этот густонаселенный, свежий, яркий, даже горячий (как из печки) и очень обустроенный большой мир Москвы — дал огромную трещину. И быстро засох.

Александровскую площадь переименовали в Площадь Борьбы после октябрьских событий 1917 года, во время которых и погиб отец Светланы Ивановны.

Погиб он глупо, возвращаясь домой, — он спешил, поскольку волновался за дочь (возможно, задержись он по своим делам хоть на полчаса, остался бы жив), и не дойдя до дома несколько сот шагов; кооперативный дом находился от их полудомика

во 2-м Вышеславцевом переулке буквально в десяти минутах ходьбы, и она никак не могла понять, почему отец не взял извозчика, если было так опасно, почему прыгнул с конки именно здесь, где звучали выстрелы, — но да, он сорвался с места, помчался, прыгнул, а здесь пошел пешком — и тут же попал под обстрел.

Стреляли с двух сторон: рабочие отряды с окраинных заводов, повинаясь приказу Совета, пробивались через заставы в центр, а немногочисленные жандармские патрули и юнкера отбивались (никакой регулярной армии в городе не было) — и те и другие стреляли из легких пушек шрапнелью, а не снарядами, они палили из винтовок по головам и поверх голов, но и этого хватило — перестрелка в городе опасна именно тем, что здесь много каменных поверхностей. Александровская площадь была замощена брусчаткой, крупным булыжником, а возможно, что пуля отлетела от стены кооперативного дома, а возможно, отец просто попал под шальной выстрел — теперь уже было не важно.

Светлана Ивановна искала отца недолго, урядник и вахмистр, она не разбиралась в чинах всех этих людей, которых еще не перебили поодиночке рабочие и которые еще не прятались по углам, привезли его тело из морга в пролетке, найдя в кармане какие-то документы или опознав по фотографиям, которые имелись тогда в участках, и долго сидели над телом, объясняя ей, как теперь быть. Оба они были не в силах уйти, потому что вид ее, наверное, был совершенно ужасен — она сидела в пальто, поскольку прошедшие два дня просто ходила по улицам и искала его, ничего не ела, кашляла от усталости, ей не к кому было обратиться, ну не к репетиторам же, ей было девятнадцать лет, и два этих пожилых усатых дядьки, пропахших табаком, кожей и невыносимым казенным духом, в пыльных сапогах, при револьверах и шашках, испуганные не меньше, чем она, оказались теми единственными ангелами, прилетевшими на ее зов. И они быстро распорядились насчет священника, насчет похорон, и Зайтага похоронили бесплатно, *за счет города* — покойники в Москве в эти дни исчислялись сотнями — юнкеров, например, отпевали в большой красивой церкви в Брюсовом переулке, красногвардейцев — по большевистскому, еще только установившемуся обычаю, без священника — на Красной площади, всех потом свезли на Братское кладбище неподалеку от Всехсвятской церкви и положили буквально рядом, тех и этих, и Светлана Ивановна ходила всюду — и туда, и сюда, и к той церкви, и к этой, после Лазаревского кладбища, где отпевали ее отца, проклятого немца, она ехала на Братское, одно время она вообще пристрастилась к этому занятию, а ведь отпевали в том октябре, а потом в декабре, а потом весной 1918 года в Москве очень многих, отпевания шли подряд друг за другом, священники скорбно махали кадиллом над бледными лицами и охапками цветов, поправляли вышитые полотенца, женщины плакали под полутемными сводами — плакали везде, в Новодевичьем монастыре и в Донском, на Ивановской горке и в Замоскворечье, в Зачатьевских переулках и на Пресне, ничего подобного раньше город не знал, церкви еще не были закрыты большевиками, и в них сплошным потоком шли траурные церемонии — хоронили погибших на фронте, хоронили жертв октябрьских событий, хоронили жертв террора, и белого, и красного, хоронили умерших от тифа, хоронили эсеров, анархистов и контрреволюционеров, словом, хоронили всех.

Постепенно Светлана Ивановна устала от этих отпеваний, они перестали приносить ей успокоение, и она стала разбираться с бумагами отца, надеясь найти в них какую-то новую правду. А может быть, и помощь. Помощи никакой от этих бумаг, конечно, не было, но открылось немало любопытного. Отец состоял членом бездонной прорвы различных обществ и организаций. Он как будто нарочно собирал коллекцию этих бесполезных свидетельств и подписных листов, чтобы теперь сводить ее с ума жуткими январскими ночами 1918 года — она перебирала их с ненавистью, но и с каким-то даже страстным любованием — боже мой, повторяла она про себя,

какой же непроходимый дурак: Иван Зайтаг был членом попечительского совета Александровского института благородных девиц, наверняка имея в виду, что когда-нибудь и она вольется в их ряды, этих самых благородных девиц, он был членом московского охотничьего и московского хорового общества, хотя не занимался в жизни ни тем, ни другим (или она чего-то не знала?), он был членом общества друзей московской консерватории и давал деньги на психиатрическую клинику, он покровительствовал обществу купеческих приказчиков в Старосадском переулке и ходил на заседания Московской городской думы в качестве ее *кандидата*, он занимался пожарной частью где-то в Лефортово и обустроивал кладбище Донского монастыря, хотя теперь был похоронен, как бездомный бедняк, и самое главное, хотя она не прочитала даже половины удостоверений, грамот и подписных листов, все это он делал совершенно зря.

Весь этот мир исчез в одно мгновение, без всякого следа.

Эта невероятно подробная, состоявшая из тысяч мелких деталей, цельная и могучая конструкция быстро рассыпалась — и хотя основное, так сказать, коренное население Москвы не верило в это, не желало верить и упорно цеплялось за прежнее, сама Светлана Ивановна поняла это раньше других, еще в тот момент, когда нашла у себя в учебнике записку с единственным словом «колбаса» (имелась в виду немецкая, конечно же, колбаса), когда услышала от отца, как два человека вошли в лавку и разбили *четыре английских сервиза*, взломали кассу и забрали все наличные деньги, выполняя свой патриотический долг, с тех пор как по отцовскому лицу, дорогому и теперь ненавистному (потому что бросил он ее так неожиданно) — пошла эта трещина в виде кривой улыбки — она поняла, что жизнь, какой она была раньше, больше не будет уже никогда. И что надеяться на это *не надо*.

Но, разбирая бумаги отца, найденные в его секретере, она обнаружила нечто интересное: еще один подписной лист на строительство какой-то больницы, в котором вдруг увидела знакомый адрес — один из подписантов жил на Александровской площади, в том самом доме баронессы Корф, мимо которого она часто ходила, и фамилия его была Терещенко. Он очень удивился, когда она робко позвонила в дверь, потом сказал, что с господином Зайтагом не был знаком, но глубоко сочувствует ее горю, и просто предложил ей чаю. Зайдя к Терещенко, она сразу поняла, что всегда хотела попасть в этот дом-корабль и выглянуть из его окна. Это был, как Светлана Ивановна поняла потом, не просто дом, а дом разбитых надежд, похожий на нее саму, на ее нелепую, так рано оборвавшуюся *первую судьбу*. Но ведь то же самое можно было сказать и обо всех остальных его жильцах, о том же Терещенко, с которым она вдруг подружилась и однажды осталась у него ночевать, поскольку ей вдруг стало страшно идти домой — одним словом, сбылась ее мечта посмотреть на «всю Москву» из высокого окна этого дома: дом, как океанский корабль, носом врезающийся в шумящий сад Туберкулезного института, возвышался не просто над Марьиной Рощей, Новосушевской улицей, Камер-Коллежским валом, Лазаревским кладбищем, над крестами церквей, которые почти достигали его высоты (а он был на холме и смотрел на них поэтому горделиво), нет, он возвышался и над ее судьбой — да и над судьбой любого человека, и это было странно — ведь это был всего лишь дом, но трепещущая зелень садов, бесконечно уходящих к Екатерининской и Самотеке, ее поразила...

Она сидела на коленях у экономиста Терещенко и целовала его в мягкие теплые губы, как будто делала это всегда.

Назавтра она принесла из дома постельное белье и ночную рубашку.

Так — на несколько лет — она стала жилищей и узнала о судьбе многих других жильцов.

Терещенко очень поначалу ее стеснялся.

То есть, да, конечно, он был очень рад и даже увлечен, но ночью, когда ему нужно было покурить или выйти по малой нужде, он, долго пыхтя, совершая нелепые медленные движения в темноте и опасаясь ее разбудить, опасаясь зажечь лампу или отдернуть штору, вдруг наталкивался на какой-нибудь стул, и все начинало грохотать, звенеть, и она окончательно просыпалась и, видя его уже в штанах и даже в накинута рубашке, при этом с босыми ногами, потому что тапочек в темноте он найти не мог, краснела от стеснения сама, его стеснение передавалось ей, она громко шептала, чтобы он включил свет и не мучился, но он упрямо отказывался, чтобы она его не увидела. Точно так же он упрямо отказывался сохранить свет, хотя бы от ночника, от хоть какой-нибудь завалящей лампочки, хотя бы от газового фонаря за окном, и ложился вместе с ней лишь в крошечной темноте, плотно задернув шторы, то есть опять стеснялся... Он как-то быстро ее раскусил, он понял, что ей просто в эти месяцы было *нужно куда-то ходить*, выходить из дома и приходить хоть куда-нибудь, он относился к этой ее острой потребности терпеливо, утром вежливо прошался, отбывая на службу (она еще была в постели), вечером вежливо здоровался, когда она звонила в дверь, не ругался, если она пропадала на несколько дней, ну и так далее, как выяснилось впоследствии, он был блестящий, крупный экономист, несмотря на свой молодой возраст, один из авторов денежной реформы 20-х годов, «соавтор золотого рубля», ну и так далее, что не помешало советской власти его расстрелять в 1930-м как соучастника так называемого «Дела Промпартии». Но когда она об этом узнала, ей уже было все равно, она, конечно, немного поплакала, передернула плечами и тут же начала думать о другом, впрочем, вся ее жизнь в том 1930-м году в связи с ее странной болезнью настолько перевернулась, что оправдание своему равнодушию Светлана Ивановна нашла легко, а тогда она и думать не думала, что Терещенко станет великим человеком и что стоит поразмыслить о том, чтобы остаться в этой квартире навсегда, — нет, у нее был свой дом, и она даже не предполагала такого развития событий, в ее памяти остался главным образом звук — звук его крупных (донельзя крупных) ступней, когда он вставал ночью и шлепал босыми ногами, и крупный, резкий звук, с которым он глотал воду, жадно глотал ее, отделившись от Зайтаг, которая испуганно замирала, пройдя сквозь череду судорог, не всегда понятных и ей самой, кадык у него был крупный, и этот странный звук ее донимал.

Так или иначе, она прожила в этом доме несколько лет, потеряла невинность (видимо, в этом и был смысл нелепого и горестного разбирания отцовских бумаг, в которых она нашла адрес Терещенко) и успела многое узнать о жильцах дома.

Состав жильцов, конечно, довольно быстро менялся в течение этих лет — в доме и раньше жили доктора, но в отдельных квартирах (как, например, доктор Иванов или доктор Вокач), с домочадцами и прислугой, занимая по четыре, по пять комнат; а сейчас частный доктор Кауфман — специалист по кожным и венерическим болезням — занимает с семьей лишь две комнаты из пяти, то есть жил в коммунальной квартире после уплотнения. В них он и принимал больных, и жил, это при том, что поселился он в бывшей квартире своего двоюродного дяди, коммерсанта и держателя акций Мееровича, который в 1920-м году выехал для поправления здоровья в Румынию. Остальные комнаты бывшей квартиры Мееровича занимали совсем другие люди: как родственники доктора Кауфмана, так и совершенно ему чужие.

Уплотнение происходило невероятно быстрыми темпами, причем в нем не было никакой системы — а только прихоть судьбы и роковая случайность. Впрочем, до середины тридцатых годов действовала система так называемого «добровольного» уплотнения — можно было прописать к себе в квартиру родственников, даже дальних.

Вообще же понять что-либо с этим уплотнением было невозможно.

Например, в квартире 23 по-прежнему жил инженер-архитектор Покровский —

тот самый, что когда-то построил этот дом по заказу баронессы Корф, — с выводком своих маленьких испуганных дочерей, а буквально напротив него, в одной из комнат огромной квартиры 24, жил Володька Безлесный — это был настоящий вор-аристократ, про которого все в доме знали, что он вор, почтительно здоровались и проходили мимо, внутренне поджавшись, а он был изысканно-вежлив и холодно-внимателен. Впрочем, далеко не все его боялись в бывшем доме баронессы Корф.

Не боялся его дворник Мустафа Обляков, который продолжал ходить в фартуке и со старорежимной царской бляхой, «осколок прежних времен», как презрительно называл его вор Безлесный. Мустафа вежливо (и низко) кланялся всем врачам (Кауфману, Вокачу, Иванову), архитектору Покровскому и его жене, экономисту Терещенко, юристу Дорошу и другим людям, в которых он признавал благородство происхождения, Мустафа снисходительно кивал нэпманам и прочей «новой знати», их он не признавал, даже если они выезжали на лакированных пролетках, носили дорогие костюмы и щеголяли новенькими карманными часами, на прежних жильцов из кооперативного дома они все равно не были похожи — и Мустафа справедливо считал их богатство и положение недолговечными, а спесь — излишней, но исправно кланялся, помогал этим новым господам по мелочи и охотно получал на чай, а вот к тем, кто заселился в доме совсем недавно, ко всем этим сторожам и фельдшерницам Туберкулезного института, сапожникам, ремесленникам, рабочим, людям неопределенного рода занятий, вечно пьяным и куролесящим в квартирах, их вечно беременным женам, то есть ко всем въехавшим в дом недавно — Мустафа относился по-другому, он ими брезговал, он равнодушно смотрел мимо и порой не здоровался... Они отвечали ему злой насмешкой, но он их не боялся.

Не боялся он их до такой степени, что когда вор Володька Безлесный нагло ограбил добрейшего доктора Кауфмана, забравшись к нему по карнизу (а перед этим сходяв к нему с визитом, как бы посоветоваться насчет подруги, а на самом деле — запомнить расположение мебели и присмотреть вещи), — Мустафа просто вскрыл дверь в его комнату, обнаружил вещи доктора и *заставил отдать*.

Это было немислимое событие, когда весь дом замер от ужаса, всем казалось, что вор зарежет дворника той же ночью, но все обошлось, Мустафа отдал вещи доктору, тот принял с благодарностью, а потом Безлесный сам зашел (во второй раз) в докторскую квартиру и принес извинения.

— Извините, Самуил Борисович, — ослепительно улыбаясь, сказал Володька, ероша жесткую шевелюру, — бес попутал. У своих не берем, но... Мать заболела, деньги нужны, вот я и...

— Может быть, вам дать взаймы? — спокойно спросил Кауфман, а Володька покраснел и ретировался.

В чем была сила Мустафы — понять было непросто.

Светлана Ивановна Зайтаг сильно интересовалась этим вопросом и не раз спрашивала мнения у сожителя Терещенко.

— Это же вопрос экономический, — меланхолично отвечал ей Терещенко, жуя за завтраком яичницу и подтверждая этим ответом, что специалист подобен флюсу. — Ну, вот представь, лапочка, этих новых жильцов, которых становится все больше и больше с каждым годом, они все стены исписали в подъезде похабными словами, выкидывают мусор на лестничной клетке, спасибо, что не срут там же, в 16-й квартире уже проживает десять человек вместо трех, в 18-й — двенадцать, в 24-й — восемнадцать; представь себе, что будет с домом, если не будет в нем Мустафы, — он сгорит, превратится в руины, а куда в таком случае денется сам Мустафа, ему просто некуда будет пойти, ведь кроме его каморки, у него другого жилья в Москве нет... Человек живет своими экономическими интересами. Мустафа не какой-нибудь там Геракл,

совершающий очередной, сто двадцать третий подвиг, он заботится лишь о себе... Понимаешь?

Но этот ответ, каждый раз повторяемый экономистом Терещенко на разные лады, Зайтаг совершенно не удовлетворял. Ей казалось, что в этой силе Мустафы есть что-то непостижимое.

...А вот в силе Марьи Семёновны из восьмой квартиры ничего загадочного и непостижимого, конечно, не было. Она, Марья Семёновна, была доносчицей, и ее боялся весь дом. (Весь, кроме Мустафы).

Марья Семёновна следила за всеми и обо всех все знала.

Когда Марья Семёновна слышала шум на лестнице, она просто выходила из своей квартиры, не заперев двери, и терпеливо ждала, пока этот человек не пройдет мимо нее, сопровождая его пристальным и даже пронзительным взглядом. Первой она никогда не заговаривала, как правило, смущенные жильцы делали это сами. Они — проходя два пролета по лестнице — успевали ей выложить буквально все: кто к кому и откуда приехал (а приезжали в Москву к родственникам многие и оставались надолго), кто чем заболел и чем лечился, что за шум был вчера (а шуму становилось все больше), почему куплен хлеб в магазине и какие праздники собираются отмечать.

Она состояла в коротких сношениях с домоуправлением (не имея при том никакой формальной должности в нем) и строго следила за пропиской и выпиской.

Когда сапожник Васильев запивал и начинал слишком бить жену (то есть он и так ее бил, и все это знали, но в особых случаях звуки битья становились настолько страшными, а вой побитой настолько утробным и громким, что спать и жить уже не было никакой возможности) — так вот, в этих случаях вызывали дворника Мустафу, он, грохоча сапогами, поднимался по лестнице, взламывал дверь стамеской или топориком, с трудом отрывал Васильева от жены и окатывал ведром холодной воды, при необходимости несильно давал в зубы — но иногда и это не помогало, и Васильев отпихивался и продолжал бушевать, и вот тогда из строя зевак выступала сама Марья Семёновна, зловеще шипя, произносила заветную фразу:

— Васильев, я тебя выселю, сука, учти!

И огромный страшный мужик вдруг обмякал. И Мустафа волочил его в свою каморку, чтобы проспался на холодке.

Словом, Мустафа и Марья Семёновна — это были сила старая и сила новая. Но почему-то обе эти силы друг с другом не враждовали. Хотя и не любили друг друга.

Зайтаг ловила момент, чтобы увидеть, как они здороваются, и наконец у нее это получилось — Мустафа, заметив выходящую из дома Марью Семёновну, бросил подметать и картинно уткнулся подбородком в свои кулаки, сжимавшие верхнюю часть метлы, она же, несколько подбоченясь, замедлила шаг:

— Куда идешь? — спросил Мустафа, пронзив взглядом новую силу. А новая сила ответила, кисло осклабясь, — силе старой:

— В домоуправление, передать чего от тебя?

— Я сам передам... — буркнул Мустафа и отвернулся.

Пораженная увиденной сценой, Светлана Ивановна долго размышляла над символическим значением этих простых слов, но потом ее отвлекли другие дела.

Сама она Марью Семёновну почти не боялась — но только лишь потому, что не считала себя полноправной жилицей. Ей нечего было терять, кроме своих цепей, как самому пролетариату. Когда они впервые столкнулись на лестнице (Марья Семёновна долго и терпеливо ждала, пока она дойдет до третьего этажа), — Зайтаг побледнела, опасаясь чего-то очень неприятного. Но, оглядев ее с головы до ног, Марья Семёновна просто и без выражения сказала:

— Вам нужно зарегистрироваться, женщина. Такой у нас порядок.

— Но я здесь не живу! — вспыхнула Зайтаг. — Я живу в другом месте.

Такого ответа Марья Семёновна почему-то не ожидала.

— И что же вы здесь делаете в таком случае? — немного покраснев, спросила она.

— Прихожу в гости...

Повисла пауза.

Марья Семёновна тяжело смотрела на новую жилищу, которая явно выскальзывала из сферы ее влияния с помощью какого-то глупого фокуса.

— Смотрите у меня, — сказала она наконец и отступила. — Не нарушайте порядок.

После этого разговора Терещенко (а был он далеко не таким равнодушным или рассеянным человеком, каким казался на первый взгляд, и, напротив, был порой весьма горяч) пошел жаловаться на Марию Семёновну в контору домоуправления.

Поскольку в его кармане было удостоверение важного учреждения, в котором он служил, держаться он решил нагло и напористо.

Описав ситуацию, Терещенко спросил у начальника:

— А кто она, собственно, такая?

Начальник покраснел и, отведя глаза, неохотно вымолвил:

— Да никто... Общественница, понимаете?

Терещенко не нашелся, что ответить по существу, пробурчал себе под нос насчет того, что пусть не лезет не в свое дело, и захлопнул за собой дверь, а начальник домоуправления тяжело вздохнул.

В доме было пятьдесят квартир.

Уплотнение часто происходило буквально на глазах у Светланы Ивановны Зайтаг. Практически раз в месяц, а то и чаще, в дом вселялись новые жильцы. Некоторые приходили сами, просто стучали в дверь и показывали свой ордер (как правило, прежние жильцы были заранее предупреждены). Иногда вместе с новыми жильцами приходил кто-то из домоуправления или даже милиционер. В Москве был широко известен мрачный апокриф или нехороший анекдот, который на самом деле имел место в жизни. Апокриф был такой. Семья рабочего-коммуниста вселилась в профессорскую квартиру и прожила в ней несколько месяцев или даже лет. В свою очередь, профессорская семья была столь угнетена этим новым соседством, непрерывным скандалом на кухонной почве, разнообразными унижениями со стороны семьи рабочего-коммуниста, его жены, детей, матери и тещи, что не выдержала и добилась от своего главы (то есть профессора), чтобы он пошел на «самый верх» и настоял на выселении рабочего. Профессор был видным ученым, в новой системе образования и культуры тоже занимал какой-то важный пост, и это ему невероятным образом удалось.

Но когда происходило выселение, сошедший с ума от ярости рабочий-коммунист, несмотря на присутствие милиционера, выхватил свой именной пролетарский пистолет времен Гражданской войны и убил профессора наповал выстрелом в голову.

Этот трагический, почти шекспировский случай облетел всю Москву, и Светлана Ивановна Зайтаг о нем тоже знала.

Однако процесс уплотнения — который она видела своими собственными глазами — далеко не всегда принимал столь эпические формы. Все происходило незаметно, естественно, мелкими, даже мельчайшими шагами. Уже буквально через несколько месяцев после октябрьских событий 1917 года, в результате которых она (Светлана Ивановна) осталась сиротой, — стало очевидно, что все эти прекрасные огромные комнаты, прихожие, спальни, столовые, невероятно роскошные коридоры, все эти кухни и комнаты для прислуги, вся эта архитектура достатка и здоровой жизни — она совсем не для этого времени. Не для этой новой эпохи.

Светлана Ивановна прекрасно помнила, как зайдя (совершенно случайно)

к своей гимназической подруге Лисицыной, в районе Арбата, в период где-то между 1918 и 1919 годом, была потрясена увиденным: голые пустые комнаты без мебели, которую сожгли на дрова, с детской комнатой, оборудованной в ванной, потому что там теплее и удобнее купать малыша, с бельевыми веревками, висящими в столовой, разбитыми окнами, которые были заткнуты подушками и коврами, ну и прочее, прочее, прочее. Уже тогда в этой огромной квартире профессоров московской консерватории поселились разные пришлые люди — родственники из далеких углов империи, которые приехали в Москву, спасаясь от ужасов войны, кругом стояли их неразобранные тюки и чемоданы, было непонятно, надолго ли приехали эти родственники или они поедут куда-то дальше, в другие страны, квартира уже тогда фактически стала коммунальной. Светлана Ивановна посидела немного и, выпив вместе с Лисицыной чаю с морковными конфетами, благоразумно ретировалась — здесь и без нее было очень много людей.

Затем в Москву стало приезжать все больше и больше этих *новых жителей*, потом хлынул полноводный целый человеческий поток, а старые люди все чаще куда-то уезжали, и процесс уплотнения пошел еще веселее.

Что уж говорить о пролетариате, который имел полное право шагнуть из барачных и рабочих казарм к новой прекрасной жизни, что уж говорить о различных милиционерах и служащих, и прочих представителях власти, нэпманах и домработницах, что уж говорить о сестрах и санитарях Туберкулезного института — все они имели (должны были иметь) в треугольном кооперативном доме на Площади Борьбы свое право — свое место и свой взгляд на жизнь.

Большие (слишком большие) комнаты были разделены перегородками, кухни — тоже разделены на некие «зоны», где стояли небольшие столики, накрытые клеенкой, и вонючие примусы. Двери на черную угольную лестницу в большинстве своем были заколочены (хотя в некоторых квартирах дровяные плиты еще работали, и возле этих квартир на черной лестнице вечно валялись щепки), стены подъезда исписаны каракулями в основном ругательного свойства, оконные стекла закоптились, а двери в квартирах и комнатах, которые то и дело ломали, вскрывали и снова укрепляли, вставляя новые замки, выглядели странно, двери шатались и скрипели, новая беспородная мебель соседствовала со старой, породистой, но, пожалуй, главное, что произошло в бывшем доме баронессы Корф, — это страшное немыслимое смешение всех нравов, всех культур, языков и порядков.

Набожные сестры Любимовские, жившие теперь в бывшей квартире инженера Когана, ставили лампадку перед иконой и молились, в то время как Марья Семёновна подслушивала и строчила свои доносы. Все это не то чтобы очень удивляло Светлану Ивановну Зайтаг, но было любопытно.

Сама она жила тогда совсем другими проблемами: ей хотелось понять, готов ли экономист Терещенко иметь от нее ребенка? А когда Лёшенька все-таки родился, она уже хотела понять, будет ли он теперь ей мужем или просто отцом ее ребенка? А ведь она по-прежнему жила у себя, во 2-м Вышеславцевом переулке, где была ее родительская квартира, а верней, теперь уже комната, потому что уплотнение, разумеется, коснулось и ее, и отношения их с Терещенко имели довольно странный характер, потому что — то он приходил к ней в гости, то она к нему, но жить вместе у них не получалось; и в одной комнате, и в другой пространство было небольшим, оно было малым, слишком малым для целой семьи, а когда она спрашивала у экономиста Терещенко, не дадут ли ему на его важной службе в важном учреждении какую-нибудь другую квартиру, соответствующую его статусу и вкладу в общее пролетарское дело, — он багровел, страшно напрягался и уходил гулять, чтобы не накричать и не сорваться, ей тогда становилось совсем страшно и неудобно, и она убегала к себе, во 2-й Вышеславцев переулок.

В квартире тридцать четыре — там, где принимал ее доктор Кауфман, — жил Соломон Матвеевич, чудной старик с огромной бородой, отец доктора Кауфмана, правоверный иудей. (Она часто видела его во 2-м Вышеславцевом переулке, когда он проходил мимо ее дома в синагогу: поскольку синагога была по соседству, отделенная от их сада лишь старым деревянным забором). Утром он молился, и это слышали все соседи. Он прикрывался шелковым талесом, распевая свои гимны и просьбы к богу, стоя на коленях и раскачиваясь.

В доме на Площади Борьбы (несмотря на то, что это был не барак и не казарма) трудно было что-нибудь скрыть — и об этих иудейских молитвах знали все, включая, конечно, и Марью Семёновну. Марья Семёновна, разумеется, знала о вредных привычках старика Кауфмана с этими иудейскими молитвами, и про иконки и лампадки набожных сестер Любимовских, и про многих сестер и нянечек Туберкулезного института, которые так же ходили в церковь: либо в храм возле Лазаревского кладбища, либо поближе, к Селезнёвке, либо совсем уж в ближайшую церковку — при больнице; все это поведение, конечно же, новой властью не поощрялось, но проступок был столь мал и ничтожен, что Марья Семёновна лишь записывала его в какие-то одной ей ведомые анналы, тетради и гроссбухи, чтобы, сложив затем все плюсы и минусы, вывести некую общую составляющую.

Старик Кауфман и без своей утренней молитвы и прочего соблюдения норм иудейской религии был жильцом весьма экзотическим.

Его высокий рост, огромная лохматая борода, серебристо-седая с вкраплениями черного, густо-смоляного, с завитушками и колтунами, с застрявшими крошками и выщипавшимися отдельными волосами, забиравшимися под пуговицы, с другими волосами, выходящими также из носа и ушей, его засаленный сюртук, надеваемый по праздничным дням, и пальто с крылаткой, его трость, его ошеломленный вид, когда он переходил площадь перед трамваем в пасхальные дни, наперерез богомольцам, его навязчивый французский язык и неумение вступать в отношения с людьми — все это казалось Светлане Ивановне Зайтаг каким-то карикатурным. При этом он был неким странным связующим элементом между одной частью жильцов дома и второй, он был не там и не здесь, он появился в доме в 20-х годах, но был как бы совсем из прошлого, он был над всеми и не был ни с кем, все возможные неправильности и недостатки жильцов были ничто по сравнению с его неправильностями и недостатками, с его нежеланием жить сегодняшней жизнью. Приглядываясь к старику Кауфману, она поняла, что их всех, таких разных, что-то связывало. Этот дом, этот быт, словом, что-то, какой-то клей.

И постепенно, как она чувствовала, этот клей, который связывал их всех, схватывался все сильнее, постепенно они все становились каким-то общим телом, жильцы этого дома на бывшей Александровской площади, они были разнородным телом, но общим, как если бы был один человек, состоявший из разных, противоположных элементов, например, из железа и дерева, и вот этот железно-деревянный человек или, скажем, человек, сделанный из бумаги и кислоты, он постепенно, изумляясь сам себе, постепенно научился бы ходить, говорить, дышать, пускать дым колечками, жить. Так и дом на Площади Борьбы — вместе с Мустафой Обляковым и Марьей Семёновной, Терещенко и доктором Вокачом, Светланой Ивановной и сапожником Васильевым — становился все более округлым и замкнутым, становился ульем или муравейником, то есть живым естественным организмом, как бы примираясь сам с собой, и это было невыразимо странно...

Терещенко обычно засыпал первым, а Светлана Ивановна еще долго не могла заснуть, пытаясь не шевелиться, чтобы не разбудить его, лежала на спине, перебирая в уме разные мысли: мысли были в лучшем случае печальные, а чаще тревожные и неприятные — про Лёшеньку и его болезни, и его будущее, про то, нужно ли ей

выходить замуж (ведь Терещенко отчего-то не предлагал), про несчастного отца и про то, что он уже ничего этого не увидит (и, может быть, хорошо), и вот наконец мысли перемещались в привычную для нее область — она уже не думала, а лежала и представляла *весь дом*, дом-корабль, он был весь под ней (кроме последнего этажа), и вот она заглядывала в квартиры, понимая, что поступает нехорошо, но не в силах от этого избавиться, мысли при этом, слава богу, переходили в какие-то картинки-ощущения (картинки с ощущениями), и она засыпала, успевая подумать все-таки важное, важное и даже очень: о том, например, что вот это *прошлое* (прошлая жизнь), как бы застывшее, закаменевшее, как старый кусок сыра или черствый хлеб, оно было разным. Внутри старика Кауфмана оно издавало запах гнили и сырости, а внутри инженера-архитектора Покровского оно не окаменело, а, напротив, как-то искрошилось, истончилось, рассыпалось в труху — от внутреннего страха (какого не было в простодушной иудейской душе), и в то же время в душе доктора Вокача, язвительного и гордого, прошлое превратилось в кислоту, которая его отравляла, — все это было странно, и она засыпала в тревоге, чтобы вскочить в пять утра и бежать к детской кроватке, стоявшей у окна.

Ей казалось, что внутри нее этого прошлого нет совсем, но оно было.

Так вот, этот самый *клей*: общая жизнь жильцов, их совместный быт и совместный труд по обживанию самих себя, обживанию пространства и времени — все это проступало постепенно, и только, наверное, к концу двадцатых годов стало окончательно ясно, что помимо вопиющих различий между ними есть и общее, что они притерлись друг к другу и стали гораздо более общим телом, чем думали раньше, — как будто жители одной планеты или одного острова.

Это стало ей ясно из самых разных процедур или, скорее, навыков жизни, которые стали у них совместными, тоже общими, и вошли в привычку — как вошли в привычку дежурства по уборке квартиры или списывание показаний электросчетчика, — ну, например, вошло в привычку у всех (почти без исключения, даже у вечно битой жены сапожника Васильева) покупать молоко, сметану, овощи у разносчиков с Минаевского рынка (они обходили квартиры по очереди, предлагая свой товар, торгуясь за копейки и оглашая двор криками), сама Светлана Ивановна обожала летними утрами выбирать из грязного ящика зеленщика свеклу или картошку или отбирать наощупь бутылку, самую прохладную, со свежим молоком; а другой общей привычкой стали похороны — чем больше становилось в доме людей, тем чаще были похороны, причем иногда они бывали горькими и торжественными, ведь люди уходили не только по старости и болезни, так было, когда умерла Люся, жена нэпмана Мееровича, она задушилась шарфом в шкафу, не выдержав мучивших ее болей в голове, доктор Вокач говорил, что ее вовремя не отдали в клинику, но все равно в доме ощущалось горе — Люся была совсем молода, и многие ее знали девочкой; главным образом, похороны ощущались как *общее дело* из-за присущих им ритуалов — катафалка, черного или красного (красного, если хоронят члена партии), с парой лошадей, украшенных плюмажем (тоже черным), и возницей в засаленном сюртуке и цилиндре. Играет духовой оркестр, выносят гроб, ставят на табуреты, заранее вынесенные из дома, выходят заплаканные вдовы и дети — все это не просто зрелище или ритуал, а жизнь, которая вдруг очевидно становится общей и острой.

Светлана Ивановна всегда участвовала в прощании.

Ее саму уплотняли по-разному. В зиму с восемнадцатого на девятнадцатый год (голодную и страшную, надо сказать, зиму) ей подселяли то служащих государственной аптеки, то целую семью, бежавшую от белогвардейцев (причем в порядке так и было написано, она сама прочитала это несколько раз, пытаясь запомнить диковинную формулировку), — но они быстро съехали, вернувшись в родные места, где уже

не было белогвардейцев, или вовсе расставшись с советской Россией, подсадили то рабочего, то служащего, то чекиста...

Один чекист, въехавший в ее бывшие комнаты уже ближе к двадцатому году, был невероятно предупредителен, обещал, что нисколько ее не беспокоит, выражался буквально, как персонаж Чехова или Леонида Андреева, — бурно, витиевато, красиво, но в какой-то момент выяснилось, что он выпивает по вечерам и водит гостей: гостями были какие-то довольно дорого одетые женщины, которые оставались на ночь и орала то ли от боли, то ли от удовольствия, Светлане Ивановне это было нестерпимо, и она просила наутро вести себя потише, чекист краснел и страшно извинялся.

Но потом как-то вдруг взял и съехал.

В тридцать первом году к ней подселили семью Каневских... Но до этого произошли важные события в ее жизни.

Это было так — к концу двадцатых годов экономист Терещенко, отец ее ребенка, начал жить как-то заметно лучше.

В доме у них не переводились хорошие вещи — конфеты, дорогая копченая рыба, иностранные папиросы, появилась даже кухарка, готовившая разные пироги и разносолы, сам Терещенко стал одеваться в костюмы и чесучовые пиджаки, покупать ей платья и безделушки, все время хотел поехать на юг, чтобы отдохнуть, — в лице его появилось выражение расслабленного удовольствия и ленивого сомнения, и вдруг она почувствовала себя лишней.

Это продолжалось недолго, и вскоре она попросила Мустафу помочь перевезти детскую кроватку и ее чемоданы, дворник взял тележку и перевез, не взяв с нее денег, а она с сыном доехала на извозчике до 2-го Вышеславцева переулка — Терещенко больше к ней не приходил.

И вот она опять стала жить одна. Верней, не одна, а с Лёшенькой.

Время, проведенное ею на Площади Борьбы, в доходном доме, она вспоминала не без горечи, но порой даже с удовольствием — ведь она тогда умела спать!

Там ей спалось действительно хорошо — иногда она приходила к Терещенко и засыпала прямо сидя на стуле. Понимая всю драгоценность этих минут, экономист замирал и боялся дышать, оберегая ее слабое посапывание и мелодичный легкий свист. Он особенно любил ее в эти минуты. Светлана Ивановна обмякала, становилась чуть прозрачнее и невесомее, чем обычно, она подворачивала ступни внутрь во время сна, по ее щеке неправильно и хаотично струились светлые пряди, руки бессильно лежали на коленях, она была прекрасна не потому, что была прекрасна, — как ночью, когда она возлежала на простынях и тихо смеялась, глядя на него, приходящего в себя после соития, — нет, она была прекрасна, потому что ее покидало напряжение, она становилась текучей, как вода, бесформенной, необязательной, и это ему почему-то нравилось.

Она вообще явилась в его жизнь настолько неожиданно, что долго он воспринимал ее как случайность.

А он не очень-то ценил случайности, обладая цепким аналитическим умом, он их не уважал, впрочем, возможно, именно случайный характер их связи он (не признаваясь себе) особенно ценил и не хотел с этим ощущением расставаться — он долго не знал, где она живет, вообще, кто она, иногда, просыпаясь ночью и глядя на ее худую горячую руку, которой она всегда закрывала голову в глубоком сне, как от удара, он с некоторым трудом вспоминал, как ее зовут.

Но это волшебное ощущение случайности постепенно уступило место другому: закономерности того, что она появилась. В его жизни до нее была неразрешимая проблема — *он не знал*, чем наполнить время, свободное от вычислений, от построения

графиков и написания докладов, он пробовал разное: ходил в ресторанные заведения, важно курил в бильярдной, плавал на речных судах в хорошую погоду, знакомясь с шумными и пышными дамами, которые всегда плавали по трое, по четверо, не в силах выбрать какую-то одну, он ездил на Кавказ, чтобы подняться в горы, ходил на лыжах, играл в карты — все было неинтересно. Утомительная тоска не покидала экономиста Терещенко нигде, и всегда хотелось домой, забиться под торшер, читая без разбору все, что угодно.

Он боялся поднять себя с дивана и даже пойти на кухню, потому что не понимал, зачем его тело движется, — в чем смысл этих утомительных усилий. После того, как она появилось, ему все стало легко.

Вероятно, думал он про себя, это потому что она ничего не просит взамен и не говорит с ним о долге.

Словом, когда она засыпала, он не переставал любоваться бессознательным и счастливым выражением ее молодого лица.

Просыпаясь в его квартире, Светлана Ивановна долго лежала, прислушиваясь ко всем звукам и не открывая глаз. Находясь еще внутри сна, она вспоминала, что лежит в его кровати, и всегда расплывалась в улыбке, потом она начинала слышать, как брякает чайник на общей кухне, как трамвай едет по Бахметьевской улице, как собирается на работу экономист Терещенко, она сладко потягивалась, словно выныривая из молока, вставала, накидывала халат и, чуть покачиваясь, шла по коридору...

Вспоминая теперь эти минуты, вот теперь, после того, как бог лишил ее сна, она снова и снова задумывалась о том, что означает это его наказание.

В принципе, думала она, невропатолог Вишняк оказался прав — нет, она не лунатик и не ходит по крышам, она не умирает, она такой же человек, как все, только грань между явью и сном стерлась, и оттого она живет в особом, очень особом мире — но зачем? За что?

Может быть, останься она в семнадцатой квартире, с экономистом Терещенко, она бы продолжала спать?

Это было понятное, даже физиологическое объяснение, но она ему не верила, кроме того, она ушла в двадцать девятом году, а спать перестала в тридцатом, и если бы она осталась с Терещенко и даже оформила с ним отношения, то есть стала законной женой, ей пришлось бы пережить его арест, передачи в Бутырку или в другой тюрьме, пережить обыск и допрос, а потом и смерть мужа.

Возможно, тот, кто хотел лишить ее сна, — заранее наметил жертву, а потом уже не смог все это переиграть?

Но кто же он был, в таком случае?

Другой мыслью, сопровождавшей ее всюду, была мысль о Лёшеньке: бог испытывает ее материнские чувства, инстинкты, бог решил проверить ее, и она должна выдержать проверку. Она выдерживала, как умела, — конечно, справляться с домашними делами становилось все труднее, и она отдала Лёшеньку на пятидневку, в интернат, но это ничего — ведь он приходил на субботу и воскресенье, в субботу она могла уйти с работы пораньше и забрать его часов в пять. И у них было целых два вечера!

Светлана Ивановна совсем не была похожа на обычную мать, но, в конце концов, как мать-одиночка она вполне имела право на помощь государства в воспитании ребенка, и она не чувствовала, что ее осуждают товарищи по работе или соседи, нет, просто постепенно она переставала замечать эти контуры обычной дневной жизни и с ужасом ждала наступления полной темноты.

Каждый вечер в десять тридцать (кроме вечера субботы и вечера воскресенья)

Светлана Ивановна аккуратно раздевалась, складывала одежду, накидывала ночную рубашку, ставила тапочки возле кровати очень ровно, взбивала подушку, выключала свет и задерживала шторы.

Каждый вечер в эти часы она вспоминала слова невропатолога Вишняка о том, что когда-нибудь заснет неожиданно.

«Может быть, навсегда?» — думала она про себя, внутренне примирив себя с таким исходом (о Лёшеньке позаботится советская власть, в этом она была уверена).

Но заснуть никак не получалось.

Подводил слух. Слышно было все.

Она накрывала голову подушкой, обвертывала вокруг головы шарф, но это не помогало.

Постепенно этот *клей*, о котором она много думала, вспоминая дом на Площади Борьбы, который скреплял воедино столь разные судьбы, иссыхал. Умер старик Кауфман со своими еврейскими песнопениями. Умер доктор Вокач. Стали исчезать другие жильцы. Светлана Ивановна ходила ночью по Москве и не понимала, почему ее не задерживает милиция. Кругом светились окна, из домов выводили людей, но почему же ее никто не трогал и никто не замечал?

Возможно, я сама исчезла? — думала она.

Дом в саду

В Москве, во 2-м Вышеславцевом переулке, через забор от синагоги (а точнее, слева от синагоги, если стоять к ней лицом) находился когда-то дом, вполне типичный для Марьиной роши да и вообще для Москвы тех лет. Двухэтажный, деревянный, с открытой галереей по фасаду, солидный и вместительный, с тремя отдельными входами, скорее всего, переделанный из старой купеческой дачи в обычное московское жилье; дом с дымоходом и трубой, но и с газовой колонкой, с садом и ледником в саду (ледник угадывался по деревянной рассохшейся дверце на холмике, как бы лежащей на земле и прикрытой упавшими листьями), с тропинками, уводящими в глубь сада, и пышными кустами вдоль высокого забора. Это был дом неказистый и уютный, старый, но не ветхий, милый, но с давно не чищенной крышей, заваленной прелыми листьями... Дом, много повидавший и готовый вроде бы ко всему.

Именно здесь, в доме № 5, в 30—40-е годы жила семья Каневских, в квартире номер 1, занимая две просторные комнаты, выданные им когда-то как *временное жилье* (по жилому ордеру хозупра Наркомлегпрома). Затем эти комнаты стали для них жильем постоянным в силу ряда печальных (или закономерных) семейных обстоятельств. И вот теперь, когда Даня Каневский входил в высокую калитку, вырезанную плотником Василием Матвеевичем в огромных хозяйских воротах еще до Октябрьского переворота, — он всегда вспоминал эти обстоятельства, невольно, краешком, но, конечно, вспоминал. И вот он думал, вспоминая их: а хорошо ли так получилось, что их с Надей идея когда-нибудь потом *перебраться в центр*, в современный каменный дом на какой-нибудь красивой набережной или на историческом старомосковском бульваре, одним словом, идея перебраться отсюда совсем в другую квартиру — им так и не удалась?.. И Даня пожимал плечами — а кто же его знает?

Кто знает это?..

Может, и правильно, что он остался на отшибе.

Здесь всем было хорошо — почему же? — из-за сада, наверное, то есть потому, например, что можно было выйти — или выбежать — из дома в сад, *затеряться* в саду или покурить в саду, или посидеть на рассохшейся скамейке в саду, развесить мокрое белье на веревке, именно здесь развесить, а не на общей кухне или во дворе-колодце,

а может быть, еще потому что нервный город напоминал здесь о себе лишь звоном трамвая и отдаленным шумом Сущёвского вала, — словом, коммунальное житье не казалось здесь, в этом доме, невыносимым, нет, оно было не только *выносимо*, но и привычно, и Надя была спокойна, что бы ни происходило с ними, и во время войны, и после нее, она всегда смотрела на этот мир из-под высоко поднятых, как бы удивленных бровей приязненно и терпеливо.

Этот дом примирил ее с Москвой — еще тогда, в начале 30-х, Даня это понял и не торопился смотреть другие квартиры. Ну а потом ему перестали их предлагать.

В квартире номер 1 обитали, кроме них, еще — семья рабочих Васильевых, а также одинокая женщина с ребенком Светлана Ивановна Зайтаг, библиотечкарь.

Светлана Ивановна была женщина странная, не без причуд, но тем она и нравилась Дане. Ходили слухи, что когда-то ее отцу принадлежал весь этот дом — слухи невозможно было проверить, сама Светлана Ивановна об этом благоразумно умалчивала, но в том, как медленно-медленно она поднималась по короткой лестнице на крыльцо, чтобы пройти темным коридором к двери первой квартиры, как бродила иногда ночью по саду, как подолгу сидела на скамейке в самые темные вечера и курила, — что-то такое было, некоторая особая невысказанность, и Дане иногда хотелось подойти к ней и заговорить, но он не решался.

Отношения их оставались на уровне соседских: соль, спички, счетчик за электричество, дежурство по кухне и местам общего пользования.

С рабочей семьей Васильевых, то есть с высоким и худым токарем-фрезеровщиком Сергеем Ивановичем, с его супругой и двумя детьми у Нади и Дани были отношения вежливо-прохладные, иногда даже напряженные, но в целом нормальные, ну а тут была совсем другая история. Полная вымысла и намеков.

В 1943 году зимой, в конце февраля, на чердаке дома номер 5 по 2-му Вышеславцеву переулку поселились белые мыши. Мышей купил Сима Каневский, сын Дани. Они тогда съездили на птичий рынок, вместе с Мишкой Соловьёвым, как бы за кроликами — а вместо них купили мышей.

Кроликов, кстати, разводили тогда в частном секторе многие — на мясо, конечно. Например, разводил кроликов во дворе 17-го дома инвалид Марик Сергеев, ну да, он был контужен, бок у него был прострелен, инвалидность первой группы, но он работал на заводе, а тут решил еще и развести кроликов и построил у себя во дворе деревянную клетку с железной сеткой. Марик объяснял окрестным детям терпеливо, что мясо кроликов — оно диетическое и невредное, а едят эти добрые животные именно траву, зимой можно дать им сено, а одного кролика можно жрать целых два дня всей семьей, кроме того, подросшего можно выгодно продать, ведь голубей в Марьиной Роще всех давно уже съели, собак тоже почти не осталось, их, наверное, едят какие-нибудь инородцы или они сами убегают из голодных домов; неправда, скупой и твердо сказал Мишка Соловьёв, неправда твоя, Марик, у дяди Лёни Аганбекова в голубятне еще пять сизарей живут и два белых, и собак я тоже видел, зачем ты так говоришь, Марик; сосед сплюнул и предложил вместе поехать на «птичку» за кроликами, чтобы самим все узнать...

Сима в этот момент глубоко задумался.

Отец после возвращения из эвакуации ходил на дежурство, они с добровольной дружиной стояли на крыше с песком и огнетушителями и смотрели в небо, пока не рассветет.

Он устал, утром надо было на работу, отгул за дежурство на крыше не полагался, а «Трёхгорка» начинала с семи утра; как только он входил в свою конторку, сразу раздавался первый звонок — фабрика стала оборонной, вместо ткани для постельного белья теперь гнали бязь на портянки, госпитальные бинты, на солдатское

нательное, ну и так далее, ткань нужна была артиллеристам, танкистам, летчикам, военным инженерам, да всем, Даниил Владимирович раньше не знал, что ткань имеет такое оборонное значение: и мягкая, и грубая, и любая — словом, производство возвращалось в Москву — по всем железным дорогам гнали станки для фабрики, гнали невообразимый вообще комплект оборудования: от технических лампочек до простых стульев, от болтов до промасленных бечевков, — за ту пару недель, что в Москве не было реальной власти, когда возникла паника и начальство сбежало из города — во второй половине октября 1941 года — разворовали многое, несмотря на угрозы расстрела, кордоны, патрули... Ну, словом, отец был занят, даже вечерами он говорил по телефону с блокнотом и ручкой в руках, телефон был общий, коридор был общий, а он все стоял и говорил, говорил, иногда выходил фрезеровщик третьего разряда Васильев в трусах и майке и уважительно, но требовательно басил: Даниил Владимирович, ну вы уж, пожалуйста, освободите аппарат-то, тогда отец вздыхал, тихо извинялся и шел к себе в комнаты — и было давно понятно, что никто никаких кроликов тут принимать не намерен, ни сестры, ни мама такого бы не одобрили, отец бы еще врезал подзатыльник, наверное, — но Сима все-таки решил ехать, и поехал на птичий рынок вместе с Мишкой Соловьёвым. Инвалида Марика они с собой предпочли не брать.

На «птичке» продавали не только птиц, он об этом догадывался, но увиденное, конечно, его невероятно поразило: храпели лошади, которых держали под уздцы суровые, но слегка растерянные пожилые крестьяне из подмосковных деревень, шипели гуси, совершенно в золотую цену: целый антикварный шкаф можно было обменять на одного гуся, тут продавали из-под полы военную форму, толкали американскую тушенку, запчасти для трофейных машин, электролампочки, гвозди, ну и, конечно, разное-разное — павлинов, индюков, кошек самых причудливых пород, впервые в жизни он увидел тут рыбок, странных полумифических существ в стеклянных шарах, наполненных водой, ну и кроликов, хомяков и мышей. (Собак почему-то не продавали вообще, никаких.)

Кролики, мыши и хомяки были в одном ряду — существа с белым или серым мехом и с бессмысленными красными глазами, которых жутко хотелось потрогать.

Мишка Соловьёв сразу пошел разговаривать по-деловому — сколько вообще стоит кролик, какой ему надобен корм, почему этот корм идет, сколько будет стоить кролик, если продать вот сейчас, сколько будет стоить, если через полгода, сколько они вообще живут, как размножаются, какой бывает от них приплод, нет ли каких ограничений на это в уголовном кодексе и так далее. Мишка морщил лоб, как взрослый, и казалось, запоминал все на раз, откладывая информацию на какие-то удобные и вместительные полочки в своей голове, ну а Сима незаметно переместился поближе к мышам.

У мышей (их было много, и все они были разные) стоял на страже всего один ужасно печальный продавец, мужчина средних лет с большим острым носом и с меховым воротником старого-престарого пальто, он покашливал и сморкался в платок, на улице было нехолодно, минус десять, солнце, но он все равно мерз, стоял в ботинках, все остальные продавцы стояли в валенках, а он в хлипких ботинках, чем сразу вызывал к себе жалость.

— Тебе чего, мальчик? — хрипло и недружелюбно спросил он Симу.

Тот пожал плечами и подошел еще ближе.

Мыши оказались удивительные. Особенно одна, непередаваемого серо-голубого атласного цвета, она быстро забралась Симе на плечо и ласково тыкалась в щеку.

— Ляля! — строго сказал интеллигент в ботинках. — Не приставай к мальчику! Он еще неопытный!

Сима покраснел.

— А их всех как-то зовут? — спросил он тихо.

Продавец улыбнулся.

— Нет, не всех.

— Скажите, а они умные?

Продавец немного нервно отвернулся. Он как-то по-особому прокашлялся, видно было, что ему хочется сказать что-то резкое.

— Ты в уголке Дурова был, тютя? — спросил он, посмотрев на Симу строго и как-то при том сверху и сбоку.

Сима печально покачал головой. В уголке Дурова он еще не был.

— Ну вот сходи. Там мыши делают такие трюки, самая высшая степень сложности. Они вообще, если хочешь знать, умнее слонов.

— Схожу... — печально кивнул Сима.

Помолчали.

— Ну что? — спросил продавец, нервно оглянувшись на Мишку Соловьёва, который продолжал выяснять про экономику кролиководства где-то шагах в десяти от них. — Что будем делать? Смотреть? Наблюдать?

— Не знаю... — задыхаясь от волнения, сказал Сима. — А сколько же ваша Ляля стоит?

— У тебя столько нет... — сурово ответил продавец и погладил свою атласную мышь.

— Мы кроликов хотели купить... — сглотнув слюну, ответил Сима. — Мы с собой денег взяли. Так что у меня есть.

Ляля, она, конечно, стоила баснословных денег. И самое главное, продавец в ботинках даже отказывался обсуждать цену. Ляля, очевидно, была любимицей и к тому же работала здесь живой рекламой. Но Сима настаивал.

Большая мышь вдруг нервно забегала туда-сюда.

— Ну не надо, Лялечка, не нервничай, все в порядке, — вдруг ласково прохрипел продавец. И повернулся к Симе.

— Ладно, забирай вот этих, и адью. «Привет» по-французски.

— Я знаю, что такое «адью», — сказал Сима. — Этих?

Мышей было сразу пять. Они были белые, азиатские ангорки, так сказал продавец, они легко поддавались дрессировке, могли сидеть на сухарях до весны, иногда им стоило положить крошечный кусочек сала («ну, возьмишь у матери что-то, жилы или требуху, то, что люди не едят, хоть один раз в зиму»), они были высокоорганизованные, удивительные существа, которые любили людей, их можно было носить в кармане, в рукаве, они никуда не могли убежать, они были ручные, только разлучать их было нельзя.

— Это семья. Понимаешь? — сурово сказал продавец. — Одного отдашь или продашь, остальные сдохнут. С тоски.

Взволнованный покупкой, Сима скупно кивнул.

Продавец погрузил мышей в маленькую клетку, насыпал корму, и Сима пошел к Мишке Соловьёву в кроличий ряд, за деньгами, деньги у них были «в пополаме», но он надеялся, что Мишка поймет.

Сначала Мишка ничего не понял.

— Ты что, с ума сошел? — спросил он сурово — Мы же хотели деньги на кроликах делать. А ты хочешь, наоборот, деньги на фуфу. Кому ты их продашь, этих мышей? Чем ты их будешь кормить? Ты подумал?

Сима молчал и смотрел в соловьёвские глаза прямо, почти не мигая.

Наконец, тот сдался.

— Ладно, бери.

Они вернулись к мышам, и Мишка Соловьёв долго их рассматривал, брал на

ладонь, кормил, гоготал от щекотки, подносил к своему носу, чтобы получше разглядеть, продавец с неудовольствием смотрел на эти манипуляции, но интересы сделки были дороже и, посчитав положенные рубли, он со вздохом положил их в карман.

— Не погубите только животных, ребята! — с одновременным чувством и облегчения, и тревоги сказал он. — Вы вообще-то где живете?

— В Марьиной Роще! — сказал Сима.

— Ох, далековато! Ну ладно, счастливого вам пути.

Пожелание было не лишним. Ехать им было с двумя пересадками на трех трамваях, часа полтора. Они устроились на задней площадке, и Сима прижался лбом к холодному стеклу, обняв клетку с белыми испуганными существами, которые теперь стали его собственностью.

Сверху клетка была прикрыта какой-то мятой тряпкой, мышей можно было разглядеть с трудом, но все равно Сима чувствовал на себе любопытные взгляды соседей по вагону: помертвевшая после зим 41-го и 42-го года Москва постепенно оттаивала, начинала дышать, и москвичи радостно принимали любую деталь этого выздоровления... Так радуются люди, когда смертельно заболевший близкий человек принимает в себя первую ложку горячего бульона, процеженного на семейной кухне через марлю несколько раз, как с восторгом встречается его первое желание — принесите книгу, газету, подведите к окну, передайте Коле, чтобы вернул мне гаечный ключ на семь с половиной, он мне потом пригодится, а что там с фикусом, небось, забыли полить, ну и так далее, важно и то, как больной перестает пользоваться уткой и сам доходит до туалета, как бы там далеко, в коридоре, не находились удобства, скрипя костями и стуча костылем, все это тоже важно, хотя и не совсем удобно обсуждать, но все обсуждают.

Так и Москва на глазах становилась прежней, а вернее, становилась живой после их возвращения из Барнаула в сорок третьем году, они обсуждали это каждый вечер, приметы были у каждого свои. Вы знаете, говорил отец, а я сегодня у входа на Коминтерновскую видел, как цветы продают, живые цветы, в феврале, с ума можно сойти, непонятно, может, теплицы какие-то еще остались, стоял инвалид с гвоздиками, продавал, и у него брали. Маму Надю волновали более прозаические вещи — на рынке появился свежий творог, да, золотой, да, за такие цены покупать невозможно, но ведь это первая ласточка! Сестру Розу волновали вечера в ДК МИИТ, который находился через дорогу от их дома: там, представляете себе, *выступала певица*, на обычном студенческом вечере, говорила она так, что все должны были умолкнуть и молча пережить высокую значительность этого момента, выступала певица, в таком платье, и с вуалькой. Сестра Этель возилась с Шуриком и выходила к ним по вечерам редко, она кормила, пеленала, и тонкий возглас: мам, зайди! — из другой комнаты стал уже привычным, как тиканье ходиков, мама Надя металась по комнатам, счастливая, но озабоченная, как все бабушки нашей зеленой планеты. Даже у молодой мамы Этель, конечно, были свои приметы возрождения, но она о них мало кому говорила (возможно, лишь иногда сестре Розе, да и то в форме уклончивых намеков): выходя с коляской на прогулку, она частенько замечала на себе взгляды проходящих мужчин, дорога ее порой шла в парк ЦДСА, к замерзшему пруду, к Екатерининской усадьбе, там количество молодых мужчин в фуражках и с погонами на плечах увеличивалось в геометрической прогрессии, к каждому хотелось подойти и спросить, не знают ли они такого товарища Штейнберга из санитарного поезда номер 17—89, но ей мешала природная стеснительность, да и не так поймут, да и зачем, если он писал ей письма каждую неделю, а то и чаще, но этот воздух Москвы — тревожный, терпкий, наполненный мужскими взглядами и твердыми шагами, воздух города, который еще жил войной, но уже и просто жил, и просто надеялся, ждал, горевал и надеялся, он

не мог ее обмануть — это был воздух ее юности, и она его узнавала после двух лет катастрофы, которая началась 22 июня.

Когда Сима Каневский вместе с Мишкой Соловьёвым вез мышей домой на трех трамваях в Марьину Рощу, он, конечно, обо всем этом не думал, но ловил на себе любопытные взгляды и понимал, что они означают — эх, вздохнул один дяденька на втором по счету трамвае (он вез до стадиона имени Кагановича, там они делали пересадку), дяденьку притиснуло рядом с ними, «ведь так и до рыбок недалеко», сказал он как бы про себя, Мишка улыбнулся, а Сима покраснел, но тем не менее показывать родителям этих самых мышей было все же никак нельзя, поэтому он попросил Мишку Соловьёва подержать тайком немного их у себя, до завтрашнего вечера, а это Мишка умел — «тайком», такое у него получалось всегда, он, правда, всю дорогу на трех трамваях ругался, что деньги потрачены зря и что Сима ему будет должен, пусть не забудет его, этот долг, который платежом красен, но в общем и целом было понятно, что смелостью друга и его покупкой он почти потрясен, о чем, конечно, прямо никогда не скажет, но прямо и не обязательно...

За два года до этого, в августе 1941 года зенитчики сбили над Москвой немецкий штурмовик, один из тех, которые, по легенде, «летели расстреливать Кремль», остальные смогли увильнуть, может, с пробитыми бортами, но сумели отбомбиться и отрулить за черту города, а этот рухнул прямо на улицу 25 октября, за триста метров от кремлевской стены, и вот он там лежал и распространял вокруг себя запах жуткой гари, остывшего железа, запах страшный, черный, как и он сам, — москвичи несколько недель, пока его не отбуксировали куда-то там в поля, приезжали посмотреть на самолет, полюбопытствовать, как это все выглядит, где кабина, где бортовое оружие, у штурмовика поставили охрану, конечно, но отгеснить зевак или как-то вообще убрать толпу — нет, власти столицы этого не хотели: «сбитый немец» был символом сопротивления (где сам летчик, никто не знал). Сима Каневский с Мишкой Соловьёвым и Колькой Лазаревым приезжали на улицу 25 октября целых три раза, там была большая очередь, чтобы подойти и посмотреть, очередь стояла практически от бывших Лубянских ворот, где находился трамвайный круг, скромная и молчаливая очередь москвичей, желавших увидеть чудо, желавших посмотреть в *глаза немцу*, то есть сбитому самолету — они еще не знали, что скоро город замрет и даже вымрет, москвичи верили, что все будет хорошо — верили и стояли в очереди к самолету.

Этот самолет-штурмовик Сима Каневский прекрасно запомнил: он лежал на брюхе посреди улицы, как упавший с неба дракон из сказки, и на месте его падения была как бы черная дыра в знакомом и привычном городском воздухе, причем дыра эта была не только на грунте, она поднималась от самолета вверх и заполняла часть неба и окружающего мира, а сам этот окружающий мир будто бы покачнулся, поплыл, и линии его искривились, некоторые предметы расширились, а некоторые сузились: ах беда, беда, беда, шептала старушка рядом, и эта «беда», конечно, была очевидна. Но это было давно, в сорок первом году, ну, а теперь, после эвакуации, после Барнаула, после того как наши отодвинули фронт и разгромили немецко-фашистских захватчиков под Смоленском, да и в других городах, как сообщал голос Левитана, этот мир вновь склеивался, нет, не склеивался, а застывал, но не застывал, а как бы окреп изнутри, перестал быть рыхлым, мир оледенел, он стал кристаллически-цельным, морозным, ясным, снежным и ледяным, плотным и свежим, четким и геометрическим, как и сама Москва, — вся она плыла зимними дымами, сизый зимний дым шел над крышами и трубами, над деревьями и башнями, над окнами и вестибюлями метро, над рабочими поселками и сортировочными станциями, над бараками, где было страшно, и над генеральскими домами, где было чисто и уютно, он не делал различий, этот зимний дым, он обнимал москвичей, всех без разбору, как пар, застывший на холодном

воздухе, пар изо рта, этот волшебный пар плыл изо рта тысяч людей, поднимался в розовое на закате морозное небо, и весь город был таким — как бы слегка подмороженным и оттого крепким, ясным и веселым.

Так человек, переживший что-то нехорошее и ставший от этого сильнее, идет по улице и свистит, хотя все помнит и все знает.

В Москву люди возвращались из эвакуации по-разному — кто в сорок втором, кто в сорок третьем, в сорок четвертом, зимой и летом, весной и осенью — узнавая свой город и не узнавая, принимая его новым и не принимая, но, в общем, всегда открывалось нечто новое, неожиданное, и для детей, и для взрослых — у Сони Норштейн, например, это «новое» оказалось совсем новым: их дом в Руновском переулке разбомбили.

На второй год войны в него попала бомба, но мама все равно решила туда вернуться — и не зря, дом на самом деле стоял, хотя и без одной стены, но стоял. Считалось, что жить в нем нельзя, но жить им больше было негде, и они поселились в своей старой квартире, просто теперь в нее было как бы два входа — один обычный, через парадное, а второй новый — через рухнувшую стену со стороны улицы, надо было только отодвинуть доску и открыть заколоченную дверь, чтобы войти в жилое помещение, от этой разрушенной комнаты, правда, почти ничего не осталось.

Соня с мамой расчистили другую, уцелевшую комнату, прихожую, ванную и кухню, вынесли на помойку мусор: куски штукатурки и три ведра черепков, электричество в доме работало, иногда вполнакала, вода из крана текла, и постепенно они привыкли к этому ополовиненному дому, в котором находилась эта разрушенная комната, но в той комнате теперь ничего не было. Мебель вынесли, посуду тоже, оставались лишь сгоревшие книги, а их-то было жалче всего — эти сгоревшие книги из отцовской библиотеки; было понятно, что мебель когда-то будет другая, хорошая, что место старых вещей и старой посуды займут новые, тоже красивые, но другие, а вот книги, они были, как люди, было почему-то понятно, что старые книги на новые не поменяешь, книги приобретались *один раз*, и смерть их была однократной и безвозвратной, как у людей, — но постепенно, входя в эту застылую комнату и копаясь в гудах обожженных книг — сгоревших по краю, по корешку, она вдруг начала их читать, и, читая, находить в этом особое удовольствие.

Порой попадались книги без обложки, то бишь, без названия, и без автора, но она читала и пыталась понять, что же это за книга, и нравится она ей или нет.

И было в этом что-то восхитительное — читать книги, не зная названия, просто прыгать в текст, как в воду, и плыть в нем без всяких приспособлений, дощечек и спасательных кругов — ах, это двадцатый век, а это восемнадцатый, нет, перед ней лежала книга — и все тут.

Анонимная, но полная смысла. Или серая, фальшивая. И тогда неважно, кто ее автор. И в каком веке она написана.

Сотни томов, развезенные взрывной волной, с оторванными корешками, перепутанными и пропавшими страницами лежали под битым кирпичом и стеклянной крошкой. Попадались и совсем целые.

Соня читала.

Сначала она читала, не таясь, в любое время, но потом мама ее отругала, потому что она возвращалась из этой нежилой комнаты вся в саже и пачкала одежду, а с одеждой было очень трудно, и отстирать ее тоже было трудно, и тогда Соня стала ходить в сгоревшую «библиотеку» только днем, когда мама была на работе; она надевала старое детское пальто, потому что «библиотека» не отапливалась, там было холодно, как на улице, садилась на корточки и долго выбирала следующую книгу. Выбирала она в старых перчатках, маминых, тех, которые мама больше не носила, аккуратно разворачивая книгу посередине. Прочтя страницу или две, решала, возиться

ли с книгой дальше, переносить ли ее в другую, жилую комнату, или лучше пока отложить, это она определяла по случайно выбранным из середины абзацам.

Иногда книги с уцелевшими обложками были выгоревшими изнутри, это было очень обидно, и она научилась смотреть сразу не на обложку, а на тело книги, насколько оно уцелело, это *тело* книги, сколько в нем оставалось не обгоревших страниц, и как они обгорели, если по краю, то еще ничего.

Затем, выбрав себе книгу, она начинала приводить ее в божеский вид, вытирала мокрой тряпкой, обрывала обгорелые края, выдувала пыль.

И сразу начинала читать.

«День выдался чудесный: я думаю, кроме России, в сентябре месяце нигде подобных дней не бывает. Тишь стояла такая, что можно было за сто шагов слышать, как белка перепрыгивала по сухой листве, как оторвавшийся сучок сперва слабо цеплялся за другие ветки и падал, наконец, в мягкую траву — падал навсегда: он уже не шелохнется, пока не истлеет». «...Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение».

Само это слово — «чудесный», возникавшее в тексте применительно то к одному понятию, то к другому — надолго проникло ей в душу. Мама так тоже говорила, но редко. Автор неизвестной ей книги повторял это слово часто. «Чудесный». «Чудесное». Соня теперь смотрела на мир по-другому, понимая, что многое тут чудесно, а она об этом не знала. Чудесна была бабка, закутанная в три оренбургских платка и покрытая сверху еще цветным, павлово-посадским, продававшая горячие пирожки с повидлом у Новокузнецкой. Чудесен был закат, поднимавшийся над Кремлём и тихим Замоскворечьем, закат, примирявший ее даже с противным чувством голода, всегда возникавшим перед сном (мама на ночь есть запрещала, говорила, что это вредно).

Чудесны были эти полусгоревшие книги, конечно.

Потом она узнала, что «Записки охотника» — это произведение о крепостном праве, в котором автор предвидел революционную ситуацию в России, ну а тогда он показался ей просто человеком, еще не старым, худым, немного смешным и длинным, как оглобля, с ружьем и в высоких сапогах, который бредет, не зная куда и не зная зачем, просто чтобы идти и вдыхать в себя этот чистый и свежий воздух — ей это все было понятно.

Соня навсегда запомнила запахи этих книг: остывшей золы, едва уловимый запах типографской краски, запах пожара и войны. И она навсегда, конечно, запомнила те отрывки, которые приводили ее в недоумение или восторг, заставляя перечитывать себя два, три, десять раз, чтобы вникнуть в таинственное сочетание слов, которое открывалось не сразу, а постепенно: «Вы говорите, она ходит во сне? Когда это было в последний раз? П р и д в о р н а я д а м а: С тех пор как его величество ушел в поход, я это не раз видела. Она вставала, набрасывала на себя ночное платье, открывала свой ларец, вынимала оттуда бумагу, что-то писала на ней, перечитывала, запечатывала и снова ложилась. И все это — ни на минуту не просыпаясь».

Эти слова загипнотизировали Соню до такой степени, что сцена из трагедии стала ей сниться — она не знала, про что эта пьеса и кто ее автор, но видение королевы, которая пишет письмо в летаргическом сне, и придворной дамы, которая рассказывает об этом при отблеске пламени из камина в мрачном сыром замке, не оставляли ее воображения — даже в школе, под портретами Сталина и Ворошилова, Пушкина и Толстого, она повторяла про себя шекспировские строки, еще не зная, что это Шекспир.

Позднее она поняла, что быть в библиотеке отца, даже сгоревшей, было для нее

так же важно, как для королевы было важно писать эти письма, во сне, в «несознанке», как говорила мама, то есть прикасаясь к книгам, она прикасалась к отцу, он был на фронте, вернее, на разных фронтах, работая в военной газете; где он находится именно сейчас, они не знали, могли только догадываться, как у каждой московской семьи, у них на стене была развешана огромная карта, и, слушая по радио голос Левитана, они каждый вечер передвигали флажки с мыслью об отце, он Соне не писал, лишь передавал приветы в письмах маме, да, это было обидно, но она понимала, что ему не до писем конкретно ей, и читая эти обоженные книги, она говорила с ним так же, как говорила королева, вставая по ночам к своим письмам.

В декабре сорок третьего года мама взяла билеты в Большой театр. Это было одно из первых представлений после возвращения труппы из эвакуации, с Урала и из Сибири, причем вернулись еще далеко не все, но театр уже работал. Купить билеты стоило немалого труда. Это был «Щелкунчик» — и мама была наполнена такой радостью, таким волнением и восторгом, что ей очень хотелось, чтобы и дочь скорей наполнилась, как воздушный шарик, этим ощущением чуда, чтобы «чудесное» передалось ей по воздуху, но оно все никак не передавалось. Огромные помещения Большого как будто немного вымерзли, в зале многие сидели в накинутых на плечи пальто.

Яркость костюмов, золотистость всей сцены и невероятная мелодичность музыки, которая ей показалась нарочито детской и потому не понравилась (или понравилась не вполне), — как бы упирались другим краем в черную глухоту и промерзлую тишину, пахнущую сырым залежавшимся мехом и ботинками. Соню это немного смущало. Одно никак не совмещалось с другим. И только когда зажегся свет и раздались бешеные крики и аплодисменты, — она поверила, что это действительно театр.

Словом, *все это* на сцене действовало на нее совсем не так беспощадно и сильно, как вот эти куски из сожженных книг, которые она выучивала наизусть и повторяла перед сном, как молитвы.

А в феврале сорок четвертого года ее позвали на день рождения.

Позвала Катя Мотылькова, одноклассница, которая жила довольно далеко от Замоскворечья, в районе Белорусского вокзала, где-то на Бутырском валу. Ехать туда предстояло на метро, и потом еще идти пешком. От Кати ее должна была забрать мама, потому что в темное время суток девочкам одним ходить по Москве опасно, это было общеизвестно и не обсуждалось.

Она приехала в гости, почти задыхаясь от волнения, с каким-то морковным кексом в виде подарка — его заранее испекла мама. На детские дни рождения ее никогда еще не звали, и она не знала, как это происходит, как все должно быть. Катя Мотылькова, отец которой работал в каком-то важном наркомате, пригласила на день рождения девочек из своей женской школы и мальчиков из соседней мужской, а соседней была школа в Лазаревском переулке.

Мальчиков было трое: Мишка Соловьёв, Сима Каневский и Яша Либерман.

Ну а девочек было сразу восемь. Мальчики стеснялись, говорили скупно, больше налегали на чай с пирожными.

Все они помнили пирожные довольно плохо, еще с довоенных времен, и откусывали сначала с большой осторожностью.

— Ну чего вы стесняетесь? — неожиданно пробасила Катя Мотылькова. Голос у нее был густой, не по летам взрослый. Она чинно сидела во главе стола в своем зеленом платье из поплина и принимала поздравления. — Ешьте пирожные, а то они пропадут, будет очень обидно.

— Не пропадут, не бойся! — сказал Мишка Соловьёв и подмигнул, откусывая большой кусок.

Все стеснялись, потому что мама Кати Мотыльковой никак не хотела уходить, с улыбкой рассматривая гостей. Для нее это тоже был большой праздник — праздник возвращения к обычной жизни: день рождения, пирожные из служебного буфета, конфеты, чай в чашках с блюдцами, принаряженные девочки, мальчики в отглаженных рубашках — война все еще шла, но было ясно, что теперь можно на что-то надеяться.

В общем-то, все и надеялись, передвигали флажки на карте, слушали радио. Фронт был уже настолько далеко, что теперь не нужно было заклеивать бумагой стекла крест-накрест, чтобы они не лопнули от взрывной волны, не нужно было наглухо зашторивать окна, чтобы ни одна щелочка света не могла просочиться наружу. (Последний налет случился летом сорок третьего года.) Мама Кати Мотыльковой так разволновалась, что подходила к каждому гостю и тормозила.

— Мальчики, девочки! — громко смеялась она. — Послушайте, ну что же вы сидите? Это же праздник, праздник! Пойте, танцуйте. Ну хотя бы рассказывайте что-то!

Наконец, все как-то разбрелись, и Соня Норштейн оказалась на кухне вместе с Симой Каневским, куда они вдвоем принесли грязные тарелки и чашки с недопитым чаем. Эта квартира — отдельная и трехкомнатная — поражала его, он вспоминал их две комнаты в большой коммуналке и думал, что завидовать нехорошо, но все равно завидовал.

Эти мысли он сформулировал в вопрос:

— Соня, а у тебя есть отдельная комната? Как у Кати? — спросил он.

— Нет... — ответила та, складывая чашки возле раковины. — Нашу квартиру разбомбили.

— А где же вы живете? — удивился Сима.

— В ней и живем, — она загадочно улыбалась.

— Это как?

— Ну так. Пострадала только одна комната. Мы все вещи оттуда вынесли. Это был папин кабинет. Теперь живем с мамой во второй. А папа на фронте. Он военный корреспондент.

Она задумалась, стоит ли ему рассказывать про сожженные книги. Может быть, он захочет взять какую-то их часть?

Она понимала, что как бы ни спасала эти книги, как бы бережно ни перекладывала их с места на место, мама рано или поздно их выбросит. Они не годились для нормальной, мирной, человеческой жизни, для обычной библиотеки. А ей было их жалко.

Но Сима показался странным мальчиком, хотя и красивым, и она не стала ничего говорить.

Мама Кати Мотыльковой, наконец, решила покинуть гостей, Катя быстро поставила грампластинки, все ринулись в большую комнату танцевать, а Сима остался на кухне.

Именно в тот момент ему в голову пришла шальная мысль, что этой девочке он подарит своих белых мышей, всю мышиную семью — на день рождения. Или на какой-то другой праздник, например, на 1 мая.

Девочка показалась ему необычной. Она не смеялась, когда другие ржали, только тихо улыбалась, она коротко и точно отвечала на вопросы, у нее были огромные глаза и очень красивое платье, и он понял, что влюбился. Он стал вспоминать, что знает на эту тему от друзей, обрывки дурацких грубых слов носились в его голове, но он понимал, что надо еще с ней поговорить, чтобы она его хотя бы запомнила.

Улучив момент, он подошел и задал еще один вопрос.

— А где вы были, когда в квартиру попала бомба?

Вопросы он задавать умел, за каждым вставала прямо-таки бездна продолжений, и все же он ей чем-то не нравился...

— Мы в эвакуации были, в Чистополе. А где же еще?

— Мы тоже были в эвакуации, — сказал он. — Только в Барнауле.

И добавил:

— Меня там на станции забыли.

Уже намереваясь от него оторваться, где-то забиться в этой необъятной квартире в уголок с книгой (не ожидала, что будет так скучно), она вдруг остановилась.

— Как это «забыли»?

Вместо того чтобы рассказывать ей откровенно и взахлеб, он пожал плечами.

— Просто забыли. Ну... потом нашли.

Она тоже пожалала плечами, повинувшись безотчетному желанию его позлить.

— Не понимаю.

Он тоже пожал плечами.

— Ну, просто поезд взял и отошел, а я остался, вот и все... Ну неважно... — сказал он, прервав затянувшуюся паузу. — Давай потанцуем, а?

И она пошла читать книгу, отрицательно качнув головой...

Мама пришла за Соней ровно в девять, как и договаривались. Соня шла, завернутая в пуховый платок, как маленькая бабушка, трескучий мороз окутывал улицу, дома, сизый морозный свет падал с неба вниз, мама держала ее за руку, как трехлетку, они торопились на трамвайную остановку, потому что пропустишь трамвай, а следующий когда, но ей все не давал покоя этот мальчик.

Как можно забыть человека, да еще в пути, она представляла бомбежку, немецкие самолеты, вой авиабомб, огромные толпы народа, сметающие все на своем пути, все то, о чем она его не спросила, а на самом деле все было куда проще — Розе, его сестре, захотелось чая и она пошла, встала в очередь к титану и задумалась, а когда вдруг объявили отправление, бросилась его искать — и не нашла, а он засмотрелся на кошку, как она ворует из корзины то ли колбасу, то ли сало, и что делать, он не знал, говорить про кошку, жаловаться на нее или нет, ведь кошку могли за это убить, а она ведь тоже была голодна, он вспомнил кошку Муську в их саду, на 2-м Вышеславцевом переулке, рыжую, тощую, всегда приходившую домой ровно в тот момент, когда голодная смерть или смерть от истощения всех ее физических сил была явно близка, и сразу после того, как ее отогревали и откармливали, она рожала котят, и так продолжалось каждый год — но эта кошка на вокзале была еще более нервной, более худой и целеустремленной, он все смотрел на нее, пока Роза металась по вокзалу, не видя его в толпе, а он стоял практически у сестры на виду, она ринулась к вагону, и ее насильно втащил туда какой-то офицер, она успела только крикнуть служащему в форменной одежде: потерялся мальчик, мальчик, я вернусь за ним, Сима Каневский! Служащий тупо кивнул, махнул семафорным флажком, а Сима не сразу понял, что произошло, началось движение, все, подхватив баулы и корзины, чемоданы и тюки, в том числе и тетка с ополовиненной корзиной, все ринулись к путям, вокзал сильно опустел, это была не очень большая узловая станция на пути к Барнаулу, ехать им оставалось всего ничего, может быть, 10—12 часов, но когда вокзал окончательно опустел (отправили сразу два пассажирских), он задумался и начал искать кого-то, ответственного за свою судьбу.

Но ответственный за его судьбу все никак не находился, мальчик слонялся из одного угла огромного зала ожидания в другой, долго стоял у портрета Сталина, потом у портрета Кагановича в железнодорожном генеральском мундире, потом он пошел к титану, из которого слабо капала кипяченая вода и возле которого зачем-то дежурил милиционер.

Милиционер зевнул и не обратил на Симу никакого внимания. В вокзале между тем раздавался смутный шум, причем понять его происхождение было никак нельзя, сначала Сима подумал, что это храпят цыгане, которые разлеглись в самой середине

зала в ожидании поезда, со всеми своими пожитками, причем все они так смертельно устали, что спали действительно мертвым сном, потом ему показалось, что это разговаривает портрет Сталина с портретом Кагановича, но и эта версия была маловероятной, и тогда Симе вдруг стало немного страшно.

Он понял, что его забыли, и спросить о происхождении шума было буквально некого. И что некому будет пожаловаться, не у кого попросить еды и не с кем обсудить последние новости — на каком фронте у нас победы и сколько врагов убито и взято в плен.

Он подошел к большому замерзшему окну и тут понял, что шум доносится с улицы, верней, с перрона, где высаживается из вагона воинская часть, как он уже успел выучить, «на переформирование», солдаты с вещмешками выпрыгивали из теплушек, строились, отдавали честь, поворачивались и уходили взвод за взводом, и этому не было конца, их шаркающий усталый шаг, голоса командиров и даже строевая песня, которую для бодрости затянула какая-то рота, вся эта военная музыка отзывалась под высоким потолком вокзала — и напугала его, но теперь он смотрел на них успокоенный и ждал.

Вскоре Сима заснул на лавочке, а когда проснулся, окончательно понял, что потерялся, и заплакал.

Он пошел к кассе (дежуривший у титана милиционер куда-то делся, и Сима его не нашел), но кассирша была занята и отказалась с ним разговаривать. Тогда он увидел надпись «Медпункт» и пошел туда, но дверь была закрыта.

Сима знал, что с цыганами общаться ему нельзя, но это были единственные люди на всем вокзале, которые были доступны, и он пошел жаловаться им.

— Мальчик! — ласково сказал ему старший цыган, отгоняя жестом женщин, которые уже хотели Симу обласкать, накормить, обогреть и как-то вообще принять в свои ряды. — Дак что же мы можем сделать? Мы такие же, как ты, горемыки. Жди своего часа, мальчик! Советская власть тебе поможет.

Цыган был, конечно, прав. Несмотря на то, что в зале ожидания на первый взгляд никого из служащих не было, это все-таки было публичное пространство. Часа через два к Симе, когда он тихо хныкал, размазывая слезы по грязным щекам, подошел дежурный с красной повязкой и лениво повел его в кабинет начальника вокзала. Там выяснилось, что пришла телеграмма с просьбой немедленно найти сына ответственного работника Наркомлегпрома т.Каневского и обеспечить его безопасность (приметы сына ответственного работника прилагались). Приметы никто сличать не стал, только спросили: «Ты Сима Каневский?» — дальнейшее было и так очевидно, городской мальчик бледного испуганного вида, в городском пальтишке и в городской кепке сидел на скамейке перед зам. начальника вокзала т.Петровым, размазывая слезы по бледным еврейским щекам.

— Ну ладно, Сима, не реви, — сказал т.Петров. — Сейчас попробуем тебя накормить.

Симу отвели в комнату дежурного по железнодорожным войскам, посадили или даже положили на жесткую скамью, принесли две вареные картошины из личного запаса. Ну и так далее.

Жизнь стала налаживаться.

Иногда в комнате дежурного случались и допросы, и важные совещания, но Симу на этот момент из комнаты благоразумно выводили, ничего такого секретного он там не видел и не слышал.

Один раз в день ему давали даже горячий суп и позволили пользоваться служебным туалетом в любое время.

Прошел день, потом другой, а ни Роза, ни Этель, ни мама за ним все никак не возвращались.

Замаячила перспектива детприемника.

Он был готов познакомиться с другими детьми, оказавшимися в сходной ситуации, но что-то ему подсказывало, что торопиться туда не стоит.

— Хочешь в детпримник? — хмуро спрашивал его дежурный по НКВД-ОГПУ товарищ майор Ащурков и хмуро потирал кулаками свои невыспавшиеся глаза.

— Лучше я тут подожду, — тихо отвечал Сима, и это ему пока сходило с рук.

— Ну жди, ладно... А то еще оформлять тебя надо, волокита... — улыбался Ащурков смышленому мальчику и отсылал его дальше коротать свои сиротские дни.

Однажды Сима, который уже начал задыхаться от этой вокзальной духоты и от вонючего тепла, вышел за двери вокзала, чтобы подышать.

Вокруг простиралась бескрайняя ледяная пустыня с редкими огоньками горевших поселковых окон. В этом пейзаже было столько одиночества и неприютности, что он замер. Лучше было ждать на вокзале.

Наконец, его среди ночи разбудила Роза. Один военный поезд, кажется, санитарный, сделал остановку здесь буквально ради нее.

— Глупый, глупый мальчик! — плакала она, обнимая Симу.

Но рассказывать обо всем этом Соне Норштейн в тот вечер он как-то не решился.

Зато он решился подарить ей мышей.

Мыши жили на чердаке. Мама, конечно, их обнаружила и рассказала отцу. Отец побушевал, но держать всю эту семью на чердаке разрешил. Это, разумеется, было для Симы спасением, потому что бесконечно воровать из кухни для них крупу, крошки, картофельную кожуру — ему было стыдно. Теперь мама, ворча, но бесперебойно выдавала ему мышинный корм. Сима расспрашивал сестер, какие фокусы показывают мыши в цирке Дурова, но никто этого не знал, никто такими глупостями не интересовался, и он начал придумывать эти фокусы сам.

Для начала он построил для них дом из старой оберточной бумаги, которую нашел на чердаке. Откуда она там взялась, он не знал. Эта была серая плотная («вошенная», как сказала мама) бумага, которая почему-то лежала на чердаке такими пластинами. Он стал ее резать, потом сделал из дощечек каркас, потом натянул на каркас эту бумагу, а потом нашел еще старое мамино платье и разорвал, хотя было страшно, но платье было такое старое, что мама наверняка бы не стала его носить.

Домик был странным сооружением. Мыши не хотели в нем жить.

Вообще чердак не был собственностью Каневских или кого-то еще из первой, второй или третьей квартиры дома номер пять. Он был общий. И хотя Сима боялся, что его обвинят в том, что он хочет устроить тут пожар, потоп или светопреставление, он часто забирался сюда.

Ему не хотелось звать Мишку Соловьёва или Яшу Либермана, или Кольку Лазарева, или Шамиля Мустафина. Здесь было хорошо именно оттого, что было немного одиноко. И еще оттого, что тут, в клетке, жили его мыши.

Они не боялись, не страдали, не голодали, не тосковали, они тут жили, и смотреть на них было одно удовольствие.

Постепенно они начали понимать, кто их хозяин, кормилец, и можно было начинать их учить всяким фокусам. У него, конечно, не было железной дороги, но был, например, катер. Игрушечный катер, проржавевший насквозь, который он обнаружил в саду. Он предложил мышам стать матросами, и они послушно взобрались на палубу. Он вынимал их из клетки по одной и выпускал на корабль.

Это было упоительно. Эти их нервные быстрые движения и суетливый распорядок действий.

Но все-таки он боялся отпускать их на волю, по всему чердаку. Боялся котов, черт их знает. Боялся темноты. Боялся самих мышей, их глупого своеволия и неосторожности.

Но за их приключениями на катере он мог следить бесконечно.

Однажды он таким образом пропустил воздушную тревогу. Мама металась вокруг дома, не понимая, где он и как можно не услышать этот трубный звук, этот страшный вой. А он его не слышал. Наконец, тяжело дыша, она поднялась по лестнице и страшно на него закричала.

— Ты... мерзавец!

Они быстро оделись и побежали к автобусному депо — там в подвале было бомбоубежище.

Сима с недоумением смотрел вокруг — чего все боятся? Между тем, по улице бежали люди, держа за руки детей. Это было даже смешно.

— Я их выброшу, твоих мышей! Не хочу из-за них умирать! — прошептала мама.

Он благоразумно ничего не ответил.

Но после того дня рождения, где он увидел девочку Соню, Сима вдруг понял, для чего он купил этих мышей. В чем их предназначение.

Единственным человеком в семье, кто не одобрял этих мышей и не желал ничего про них знать, была его старшая сестра Этель.

Этель училась в железнодорожном институте, так называли в просторечии МИИТ, на экономическом факультете.

В июне сорок первого года она должна была защитить диплом. Диплом назывался «Особенности работы железнодорожного транспорта в эпоху обострения классовой борьбы». За полгода она проделала огромный труд. Прочла толстенные фолианты, включая первую часть «Капитала» Карла Маркса и «Развитие капитализма в России» Владимира Ильича Ленина. Огромные труды советских политэкономистов. Тонны статистических выкладок, в том числе и на иностранных языках. Эти полгода прошли для нее как в тумане. Она страшно боялась, что не справится. Вставала в шесть утра и принималась за конспектирование того, что читала дома. Делала выписки на четвертушках, которые затем раскладывала по специальным картонным ящичкам. Сверяла цитаты с оглавлением диплома. Ставила специальные значки. Завтракала. Помогала маме отправить в школу Симу. Надевала выглаженное накануне платье. Шла в библиотеку. Занималась. Сидела на академических парах. Готовилась к госэкзаменам. Гуляла час, чтобы не сойти с ума. Шла домой и снова читала.

Ей казалось, что голова ее наполнена этими формулами и выкладками, как фаршированный пирог. Железнодорожный транспорт вместе с этапами мировой революции громыхал у нее в голове, даже когда она спала. Мама смотрела на нее с отчаянием и жалостью. Но Этель знала, что силы ее рассчитаны точно, что в июне будет конец, каким бы он ни был, — и терпела.

Сотни и тысячи километров путей, которыми нужно было покрыть эту страну в эпоху довольно жуткого, прямо скажем, обострения классовой борьбы, больше не были для нее голой абстракцией. Кубометры земляных насыпей, древесины для шпал, смолы, шлака, металла, количество вагонов и людей, — она легко перебрасывала в голове, как бы на весу, чтобы понять, как может классовая борьба изменить ход событий. Нападение японского империализма. Нападение германского фашизма. Нападение британского империализма. Нападение польского национализма. Все это требовало от простого советского человека невиданных усилий — и эти усилия нужно было на чем-то возить. Хватало рабочих рук, но не хватало паровозов. Была сталь, но не всегда подвозили уголь.

Порой, среди глубокой ночи, когда весь дом номер 5 по 2-му Вышеславцеву переулку засыпал, она вставала от настольной лампы с накинута на нее газетой, чтобы не светила на соседнюю кровать, и, пошатываясь, шла в уборную, ощущая себя вампиром. Ей не хватало цифр и фактов, ей хотелось уже не писать диплом, а составить настоящее воззвание на имя товарища Кагановича, железнодорожного

генералиссимуса, с мольбой о помощи: спасите мировую революцию! Ведь если не проложить вовремя эти сотни железных ниток по всему телу родной страны, не прошить ими безжалостно эту тихую вонючую реальность — революция захлебнется, а весь этот поганый империализм обязательно победит!

Но потом она успевала заснуть, упасть на постель, и эти бешеные мысли прекращались.

В июне началась война, а в июле им объявили, что защита дипломов отложена на неопределенный срок — институт, возможно, будет эвакуирован вместе с преподавателями и студентами.

Все рухнуло.

Она по-прежнему ходила в институт каждый день, идти было недалеко, от их дома пять минут; когда она поступала, папа посмотрел на нее с ласковой усмешкой и спросил: ну может, подальше будешь ездить, Шурочка (он так ее звал), все-таки Москву посмотришь, хоть из трамвая? Но когда она обиженно вспыхнула, обнял и улыбнулся — прости...

Так вот, она ходила по инерции в институт каждый день, но там все было не так: перестала работать библиотека, всюду лежали какие-то ящики, белые никому не нужные листы бумаги тихо шевелились на полу и только иногда испуганно поднимались вверх от сквозняка и снова опускались на пол.

Кафедры складывались, партком складывался, учебная часть складывалась, собрать весь архив всего за три недели и аккуратно уложить было непросто, да, конечно, она помогала, чем могла, но это ее не занимало — вернее, не занимало ее *всю*, вместе с ее вместительной душой и большим сердцем. На улице было полно военных, люди стояли у военкоматов часами, ждали объявлений, но все работало — вокруг кинотеатров, кафе, ресторанов, домов культуры клубились толпы, все хотели отвлечься, забыться, сделать вид, что все в порядке, что это ненадолго; в парке ЦДКА шли непрерывные танцы, как-то раз, вместе с Розой, она пошла, увидела кружащиеся влюбленные пары — и зарыдала.

Она не представляла, что с ней будет дальше.

В августе начались дожди, начался набор в ополчение и на трудовые работы.

Про ополчение они с Розой боялись и заикаться. Мама могла сразу получить инфаркт или инсульт. «Да. Но я хочу с ними драться!» — сказала Этель серьезно, когда дома все заснули и они вышли с сестрой в сад покурить. Курила только Роза. Этель смотрела на нее с осуждением, но теперь уже было не до воспитательных моментов.

«Я тоже хочу с ними драться, — сказала Роза примирительно. — Но я-то еще хожу в десятый класс, а ты, как мне кажется, не рождена для разведывательно-диверсионной деятельности». И фыркнула от смеха. Этель не обиделась. Это был, возможно, один из последних теплых августовских вечеров сорок первого года. В саду с легким шумом падали яблоки: волшебный звук, в нем было что-то тревожное и веселое одновременно.

— Мало ли кто для чего рожден! — сказала старшая сестра задумчиво.

— Талька, не думай! — вдруг почти закричала Роза. — Не нагоняй тоску! Если нам суждено погибнуть под пулями или под бомбами, это от нас не уйдет. Поверь. Скоро нам дадут лопаты, и мы будем приближать победу своими руками.

И она была права. Начались дожди, и сестры поехали в район города Сходни на грузовике вместе с другими девушками.

В ЗиС-полугорку набивалось человек по тридцать. Цепочка грузовиков шпарила по почти пустому Ленинградскому шоссе.

— А где же все? — шептала Этель в ухо Розе. — Где танки, где броневики, где солдаты? Как будто все вымерло...

— Талька, молчи! Нас арестуют...

Решили петь, чтобы не молчать и не бояться. «Нас утро встречает прохладой...» — запела Роза писклявым голосом, но уверенно. Девчонки подхватили. Этель смотрела на них с интересом. Все они были одеты одинаково — плащи, старенькие пальто, сапожки. Накрылись пыльным брезентом, сидят, поют. Но лица веселые. Дождь продолжал хлестать.

Грузовик свернул на грунтовку.

Потом еще немного дал в лес. Потом выехал на колхозное поле.

К грузовику подбежал кто-то в штатском. Сделал знак руками — выгружайтесь!

Стали прыгать из грузовика. Почва уже начала раскисать. Плюхались прямо в грязь. Из-под сапог летели комки.

Раздали лопаты.

Через поле на колышках была протянута бечевка, еле заметная в дождь. Небо еще больше потемнело, и они, растянувшись цепочкой, начали свой трудовой подвиг. Подвиг был муторный, лопата скользила в руках, тут Роза напомнила ей про забытые дома перчатки, но было поздно — мозоль уже образовалась, и стало больно. Этель втыкала в землю лопату, нажимала ногой, затем пыталась ее повернуть, но огромная, липкая, тяжелая, жирная грязь, налипшая сверху, страшно мешала.

Ей захотелось плакать уже на десятой минуте, на двадцатой она уже отплакала первые слезы, потом ее бросило в жар, потом она поняла преимущества этой работы — было настолько жарко, что про дождь, хлеставший сверху, она практически забыла, дождь перестал ощущаться, болело везде: в груди, в ладонях, в боку, болели ноги, но она продолжала рыть, сильно отставая от других, к ней то и дело подбегали девчонки с советами — Таля, смотри, ты не так делаешь, тут опять возвращались слезы, Роза стояла далеко, она благоразумно отошла от старшей сестры метров на пятьдесят, невообразимое расстояние, Таля сначала страшно обижалась, поговорить не с кем, некому сказать даже пару слов, а очень хотелось, до дрожи важно и нужно кому-то что-то сказать в этом аду, а это был ад — не только физический, но и моральный, потому что в голову лезли все эти насмешки из детства, из школы — что она жирная, что она неповоротливая, робин бобин барабек скушал сорок человек, и корову и быка, и кривого мясника, я сейчас упаду, нет, я сейчас упаду, девчонки снова подбегали с советами, потому что она отставала от всех уже не на круг, а на целую жизнь, им нужно было выкопать настоящую траншею, двухметровую, затем укрепить ее бревнами, настилами, и все это за два дня; говорили, что на той стороне поля вполне могут появиться немецкие мотоциклисты, мобильные группы с легкими пулеметами, которые сильно опережали передовые части — разведчики, они спокойно могли расстрелять из пулемета, им даже не нужно было к ним приближаться, сверху могли прилететь штурмовики. Трудовые отряды рыли тяжелую, мокрую, раскисшую землю по всему северо-западному периметру, и такие случаи уже происходили — стреляли по людям, роющим траншею, а охраны никакой, да вообще никого нет, куда же все делись, думала Таля, вонзая стальную лопату в эту землю, куда они все делись, у них даже офицера нет, какой-то штатский, прибежал, убежал, говорят, инженер, она не понимала, откуда появлялись в голове все эти слова, ведь она ни с кем не говорила, ничего не слышала, вокруг был только шум дождя, хлюпающий звук земли, и все-таки это как-то просачивалось в ее голову, с дождем, что ли... Она не помнила, как вернулась домой, разделась, помылась, рухнула на кровать, на завтра эти сапоги оказалось надеть невозможно, они размокли, стали какие-то страшные, жаль, что она не поставила их на кухню, возле плиты, а они с Розой и всем отрядом уезжали опять утром, на весь день, дождь закончился, светило неяркое, тихое осеннее солнце, и Этель надела туфли, обычные туфли на каждый день, в которых она ходила в институт, черные, почти без каблука, удобные, к платью, причем к любому, туфли подходили идеально, почему не задержалась, почему не нашла других сапог, никто не обратил внимания — спросенок, в панике, дождя нет, в туфлях будет нормально, так они

кончились, за один день, вечером она сидела у плиты и подводила итоги: копать научилась, туфли потеряла, но это нормально, все для фронта, все для победы, но туфли, туфли ей было все-таки жаль...

Туфли было жаль, но вообще все эти месяцы, когда их с Розой записали в бойцы трудфронта, в один отряд — эти дни оказались наполнены ярчайшими событиями, впечатлениями, которые не позволяли оценивать происходящее адекватно, как катастрофу (фронт приближался, Москва сначала медленно, а потом стремительно пустела, пока не докатилась до кошмарного, неудержимого бегства 16 октября и позже), — и Таля жила этими впечатлениями, погружалась в них с головой, бессознательно отодвигая от себя плохие, страшные чувства, тревогу и растерянность, — диплом не защитила, нормальная жизнь прекратилась, но было бы гораздо хуже, если бы она просто сидела дома или металась по Москве в поисках какого-то смысла, какой тут мог быть смысл, а так — почти каждое утро, собранные, утепленные мамой — под платье две кофты, на ногах зимние носки, старые прорезиненные боты, темные юбки, кокетливые береты, старые и короткие пальто, теплые и на вате — обе сестры бежали на Площадь Борьбы, куда за ними приезжал автобус или грузовик, и ехали рыть траншеи под Волоколамск и на Истру, в район Нарофоминска или Кубинки, они определяли направление по тому, куда поворачивала машина, на какое шоссе она выезжала, заранее им не говорили почему-то, делали строгое лицо. Начальником над ними поставили мужчину, комсомольца с завода, он работал вместе со всеми, покрикивал, командовал, но часто отлучался, чтобы решить «оргвопросы» — а какие это были вопросы, да простые: горячую еду иногда подвозили, а чаще нет, девчонки доставали домашние бутерброды, яблоки, перекус занимал минут десять, потом опять появлялся их Вася с требовательным раздраженным лицом, раздражение они списывали на то, что добровольцем его не брали, заставляли командовать девчонками и лопатами, а это было ему морально тяжело, бедняжка, шутили они, как могли, хохотали порой, вгоняя его в краску, но и он в ответ не стеснялся, начинал орать, пользуясь служебным положением, копали почти до полной темноты, возвращались в Москву по пустому шоссе, освещенному только светом фар, почти неживые от усталости, постепенно их догоняли и вливались в колонну такие же грузовики и автобусы — колонна Трудфронта. Но иногда бывали деньки повеселее: это если их посылали рыть щели между домами, оборудовать бомбоубежища, расчищать завалы после бомбежек, и они оставались в Москве.

Это значило, что можно *отпроситься у Васи* — сбежать за мороженым (мороженое везде продавали), позвонить из телефона-автомата (автоматы работали), купить пирожки, даже быстро зайти в столовую, чтобы съесть тарелку супа и пару кусков хлеба, а главное, не стоять по колено в грязи, по колено в сырой земле, под дождем или ранним снегом, что уже было счастьем — Москва, родная, теплая, наполненная осенним светом, трамваями, кронами старых деревьев, окнами, людьми, обступала их со всех сторон, как бы заглядывая в глаза.

Щели — защиту от авиабомб и возможных артобстрелов на тот случай, если до нормального бомбоубежища добежать не удалось — рыли с таким расчетом, чтобы удобно было прятаться в них жителям нескольких соседних домов. По сути, такая же траншея, только поуже. Московская земля суше, тверже, вся просыпана железом и камнями, рыть ее было гораздо труднее, но то, что им помогали сами жители, приносившие из дома кто бидон с водой, кто хлеба, кто яблок, давало заметное облегчение, хотя и не всегда.

Люди, между тем, среди простых москвичей попадались разные.

Попадались, конечно, и совсем странные субъекты. Один вполне солидного вида мужчина (в основном-то мужчины были днем на работе), вышедший из большого

пятиэтажного дома на Новой Басманной им помогать, привязался настолько, что она вынуждена была назвать свое имя и даже дать телефон, и вот он названивал теперь по вечерам слабым задушенным голосом (Роза предполагала, что он закрывается подушкой, чтобы жена не слышала) и требовал встречи, хотел сказать что-то очень важное.

— Опять твой ухажер звонит, помоложе найти не могла? — звал папа из коридора, а она, только приехав из-под какой-нибудь Рузы, ничего не соображая, не поев толком, со страшной ломотой во всем теле, была вынуждена все это выслушивать и вежливо отшивать этого почти старого уже человека.

В один из моментов этого нелепого телефонного романа (слава богу, на Новую Басманную их больше не посылали) — он, этот самый Тимофей Васильевич, вдруг сказал ей такую вещь:

— Таля, только я вас умоляю, скорей уезжайте из Москвы! Передайте вашему отцу, что оставаться здесь смертельно опасно. Хотите, я всей вашей семье достану купе? На следующей же неделе?

Когда она передала этот разговор папе, он побледнел и усмехнулся, серьезные, мол, у вас отношения, я вижу, а Таля вспыхнула и обиделась.

В этой истории странным было то, что Тимофей Васильевич углядел ее во всей этой нелепой одежде, старой обуви, в пальто на вате, смешном берете, видно, глаз был у него на такие вещи зоркий, даже чересчур — и не только углядел, но и угадал, что она не будет его отшивать резко, то есть уловил ее мягкую душу, и в этой его прозорливости, жадности было что-то неприятное.

Или приятное тоже?

В общем, она не знала.

Но это было еще ничего — жалко, нелепо, смешно, такие дурацкие ухаживания во время войны, но понятно, объяснимо, а вот когда во время рытья щелей ей вдруг сказали, что все это мартышкин труд, потому что немец все равно будет в Москве через неделю или две, она пошла с лопатой наперевес и потом пожаловалась Васе. Он поправил красную повязку на рукаве, как и отец, побледнел и спросил грозно, кто это сказал.

Но того дядьки и след простыл.

Дело было, конечно, не в этих ядовитых мерзких словах, а в том, как они были сказаны — не для того, чтобы оскорбить, ударить, а с полным сознанием своей правоты, уверенно, как будто священником с амвона.

Но она оглянулась, выдохнула, вслушалась в звон трамвая и забыла.

Увы, такие счастливые московские дни у трудфронта бывали не всегда — горком партии делал все, чтобы решить оборонные задачи своими силами: дежурные по дому, подъезду или району выгоняли оставшихся жителей на трудовые подвиги каждый день, а их посылали подальше — причем после первой линии обороны они начали рыть траншеи второй линии, гораздо ближе, и это уже пугало.

Порой им находили ночлег, на три дня, на четыре они оставались там, где-нибудь в Лобне, ни помыться, ни постираться, было страшно и грязно в этих общих комнатах — общежитие опустевшего завода, казарма, пионерский лагерь, пугала темнота, пугало отсутствие ясной перспективы, то есть когда обратно домой, пугало черное поле и какие-то дальние звуки.

С Розой они шептались по ночам.

Роза ничего не боялась.

— Мы победим! — шептала она, засыпая.

Так ли?..

Да, да, да, но все это было возможно *тогда*, в сорок первом году, той страшной и в то же время прекрасной осенью, но теперь, в морозном феврале сорок третьего, когда они вернулись из Барнаула, слава богу, насовсем, навсегда, все стало иначе и, что особенно важно, теперь она уже не девчонка, а взрослая женщина, молодая мать и одновременно невеста, и без новых туфель ей никак нельзя. Ну вот никак нельзя.

Папа сильно задумался, когда она ему об этом сказала.

— Надо изучить вопрос, — сказал Даня Каневский своей дочери Этель и начал его изучать.

Туфли скоро купили, но не Этель, а Розе.

Площадь Ногина

Даниил Владимирович Каневский, которому исполнилось в январе сорок первого года ни много ни мало сорок девять лет, стоял на крыше пятиэтажного дома на Площади Борьбы и смотрел вниз.

Он осторожно нагнулся, даже схватился за небольшой железный барьерчик, крыша была слегка поката, ладонь ощутила неприятную сырую ржавчину. Сощурившись, он пытался высмотреть что-то в глухой темноте — там во дворе тихо перемещались какие-то тени, приглушенно звучали шаркающие шаги, иногда даже слышался сдавленный смех, — но все окна в доме (и в окрестных домах) были темны, наглухо задраены, свет везде выключен, уличные фонари потушены, и непривычная темнота ощущалась как плотность воздуха, как густая взвесь, от которой было трудно дышать.

Ночное пасмурное небо вдруг осветили прожектора. Белые бледные пятна медленно перемещались там, деля туманное пространство на сектора и на квадраты, кромсая его гигантскими ножницами, и вот между этих разрезов вдруг метнулся силуэт самолетика, который казался игрушечным, на самом деле гудящий штурмовик летел почти над домами — и глухо застучали зенитки (батарея, судя по частым бликам, стояла где-то в самом центре). А здесь — на Площади Борьбы, на их дежурной крыше — «районные противопожарные расчеты номер восемь, семь, и шесть», то есть мужчины среднего возраста в пиджаках и кепках, плащах и шляпах выстроились по тихому свистку старшего, заняв свои места. Даня, плотнее надвинув кепи на лоб, глупо улыбнулся в темноте — давно, ох, давно не вставал он по росту и не отвечал коротко: «Я!» — на вопрос: «Каневский?»

Дом этот был очень странный — изогнутый таким образом, как если бы великан взял гигантскую кочергу и согнул ее, но не скрутил, а лишь согнул, демонстрируя собственные бицепсы, еще кто-то говорил, что дом похож на корабль своей треугольностью, но нет, он был похож именно на изогнутую великаном кочергу, он резко возвышался над слабо шелестящим садом Туберкулезного института, над уходящей вниз, как бы даже прыгающей вниз Самотёкой, и дом этот был, конечно, очень хорошей мишенью для бомб.

В эти осенние дни Москва горела сразу во многих местах.

Страшный пожар был в районе Кудринской площади. Говорили странное, что вроде бы за несколько дней до пожара ночью приехала команда военных строителей и возвела непонятные, бессвязные деревянные конструкции, которые с воздуха *должны были напоминать московский Кремль*.

И что именно поэтому туда был направлен массивный удар, невзирая на встречный огонь зенитных орудий.

Пресня пылала всю ночь и следующий день, догорая в вечерней тьме. Пострадало много домов и много людей. Но Кремль, конечно, был спасен.

Гораздо страшнее были сообщения с Мытной улицы — там на всех не хватило подвалов каменных домов (хотя именно там каменных домов было куда больше, чем здесь, в Марьиной роще), и поэтому для жителей вырыли глубокие подземные укрепления, настелили бревна, засыпали сверху землей, навалили мешки — но фугасная бомба пробила все это и попала внутрь. Погибли все, кто сидел в бомбоубежище, никто не выжил вообще, так говорили в очередях и на остановках.

Многие москвичи после этих слухов решили оставаться во время тревоги дома. Хотя это и было строго запрещено.

Неизвестно, сколько именно их было, погибших на Мытной улице, говорили тогда про сорок человек, потом про сто сорок, цифры назывались разные, в газетах, конечно же, ничего об этом не писали.

Горели вагоны и склады в районе Белорусского вокзала.

Проезжая на трамвае знакомыми маршрутами, Даня отмечал (с каким-то чувством вины) следы новых и новых бомбежек — например, сгорели деревянные или полудеревянные дома в районе Гранатного переуллка; обычные московские дворы и кварталы, мимо которых он проходил сто раз, превратились в руины и продолжали тлеть, на Овчинниковской набережной тоже снесло и разворотило немало домов, в Руновском переуллке снесло один и разворотило полдома, люди ходили мимо стен, покореженных бомбой, даже не оглядываясь (привыкли?), но, конечно, особенно страшно было смотреть на памятник Тимирязеву у Никитских ворот: каменный академик в своей строгой шапочке уныло глядел на московскую землю, лежа на земле, уткнувшись в нее щекой и носом, его огородили заборчиком, что-то там вокруг уже ремонтировали, строили, но как символ наступающей беды он — поваленный Тимирязев в шапочке и со сложенными на причинном месте руками — был, конечно, весьма печален, рядом зияла огороженная яма — воронка от бомбы, чудовищно глубокая. Окна во многих домах вылетели, жильцы занавешивали их одеялами, тряпками, оставшиеся целыми заклеивали крест-накрест, дома имели от этого больной вид. Даня пытался понять, отчего же возникает у него острое чувство вины — оттого, что его не убили, что не его семья пострадала? — нет, это странно, это не так, но чувство вины определенно было — неожиданные толчки в груди: холод *неизвестности* подступал отовсюду.

В то же время Даниил Владимирович с удивлением ощущал в себе и некоторые благотворные перемены.

Он почему-то стал легче дышать с начала войны. Ему нравилось дежурить на крыше — в эти ночные часы. Он стал с аппетитом есть, чего с некоторых пор за собой не наблюдал, и охотней разговаривал с сослуживцами, замечая что-то новое — этот, оказывается, тоже рыжий, как и он сам, у того четверо детей, с этим можно поговорить о шахматах.

Стоя сейчас на крыше, Даня подумал, что воздух тут все-таки очень чистый, ясный, свежий, хотя и чересчур густой от темноты, и такой воздух теперь всюду вокруг него — воздух покоя, а смысл этого покоя в том, что он теперь такой же человек, как и все остальные.

Возможно, так организм пока еще здорового человека (пока еще, усмехался Даня) реагировал на острое ощущение новой жизни Москвы. Витрины магазинов, заложенные мешками с землей. Траншеи, прорытые прямо посреди улицы. Метро на площади Маяковского, ночами превращавшееся в огромное бомбоубежище, где вповалку спали люди. Десятки военных патрулей, целые колонны солдат, бесцельно, на взгляд постороннего, но очень деловито шагающих по Москве в разных направлениях, все с винтовками, некоторые с вещмешками, то есть при полной выкладке. Баррикады из бревен и противотанковые «ежи», удивительные сварные конструкции, повитые

колочей проволокой. Стены домов, обильно заклеенные строгими листовками и плакатами.

...Даня такого не видел со времен Гражданской войны.

Это ощущение *неизвестности* — гигантской неизвестности, нависшей над городом, над миром, над ним самим и его жизнью — было ему когда-то хорошо знакомо.

Однажды он шел в районе улицы Герцена. Вдруг люди остановились. Он тоже остановился и посмотрел в ту сторону, куда смотрели все. Над домами медленно плыл аэростат. Он уже их видел — продолговатые, в форме дирижабля, воздушные шары, которые висят над крышами домов во время ночных бомбежек. Вблизи аэростат оказался серым, брезентовым, похожим на раздувшуюся плащ-палатку. Его волокли на тросах четыре девушки. Вернее, это он волок их — так казалось: огромный, могучий, он плыл над крышами, над улицей, а они вели его, как лошадь или верблюда, направляли умело, держа с четырех сторон, иногда упираясь ногами, и покрикивая друг на друга, с напряженными спинами, но все-таки хорошенькие, в юбках до колена, кокетливых пилотках и отлично сидящих гимнастерках.

— Дайте дорогу, товарищи! — крикнула одна из них.

Даниил Владимирович стоял довольно далеко, но, повинуясь безотчетному чувству, чуть попятился — и немедленно упал в траншею.

Это была, собственно, даже не траншея, а яма — траншею только начали рыть, а потом бросили, потому что концепция изменилась — и ее решили рыть в другом месте, сейчас вся Москва была в этих неожиданных ямах, слава богу, вырыли неглубоко, но темнота, вдруг повалившаяся на Даню, заставила его слегка испугаться, и потом, он сразу вымазался, пока вылезал, и пока летел тоже; слава богу, ничего не сломал, не вывихнул, словом, случай был смешной, пришлось в таком непотребном виде ехать в трамвае домой, а ехать было далеко, на него с недоумением смотрели, а он только молча разводил в ответ руками — такое дело, товарищи!

Возле дома его, грязного с головы до пят, остановил постовой и спросил, что случилось. Пришлось объяснять.

— Что ж, товарищ — время военное! — сказал постовой милиционер и отдал ему документы.

Именно в этот момент Даня, как показалось ему, понял смысл происходивших с ним изменений. Случись это с ним — проверка документов на улице — еще три-четыре месяца назад, то есть до начала войны, Даня несомненно пережил бы это иначе. А сейчас он засмеялся и пошел дальше. Страх — как будто навсегда — исчез.

Тот страх, который жил с ним постоянно с момента ареста младшего брата Мили. Тот страх, с которым он прожил в Малаховке больше года, который сопровождал его всюду — на работе, дома, на улице — этот страх вдруг ушел. Возможно, он был вытеснен другим — перед неизвестностью, перед бомбежкой, перед возможной смертью, перед войной — но он ушел.

Этот прежний страх был страхом одинокого человека, на которого любой может показать пальцем — держите его!

Нынешний страх — да и можно ли было назвать его так? — это было ощущение общей беды и общей жизни.

Отныне Даня жил вместе со всеми и вместе со всеми боялся — или не боялся. Нет, скорее, не боялся.

Кстати, придя домой тогда, весь в грязи, с порванной под мышкой рубашкой и в изгвазданных штиблетах, он переоделся и пошел за чайником на кухню. Там он встретил Светлану Ивановну Зайтаг, свою загадочную соседку.

— Вы знаете, Даня... — сказала она внезапно. — А я опять начала спать... Все сплю, сплю, сплю... Даже не знаю, надолго ли это... — И радостно коротко засмеялась.

Он сразу вспомнил, что когда-то давно Светлана Ивановна говорила ему, что не может заснуть, вообще не может. Какое-то воспаление в голове.

Теперь, глядя в ее светлые глаза, он понял, что она тогда говорила чистую правду.

Но именно в эту ночь Даниил Владимирович не смог заснуть.

Он все время думал про этих четырех девушек с аэростатом. Вот они идут и тянут эту надутую машину на тросах. Он вспомнил, что их всегда четыре... не три и не пять, и не восемь. И что это какое-то ангельское число. (Почему ангельское? Он не знал.)

Он лежал в темноте и думал, что случится, если вдруг аэростат их унесет.

Вполне возможно, что в какой-то момент он поднимется чуть повыше, поймает воздушный поток и дернет их за собой.

Сначала с них начнут падать сапоги, а потом первая из них упадет с большой высоты вниз и разобьется.

Но потом он вернулся к первой мысли — об ангельском числе — и представил, как крылья прорастают у них за спиной, и они летят, летят...

— Тебе принести воды? — тихо и сонно спросила Надя.

— Да нет, спасибо, — ответил он. — Я сам.

Надя, и это было естественно, спрашивала его: что они делают во время этих ночных дежурств на крыше? Сначала ей было очень страшно, но потом она привыкла, что муж так часто уходит по ночам из дома. Даня смеялся и отвечал односложно:

— Ловим бомбы!

— Да ну тебя! — обижалась она. — Куда вы их ловите? В ведро, что ли?

Однажды Даня, кстати говоря, услышал, как рассказывает об этих дежурствах его новый знакомый (коллега по дежурному противопожарному расчету № 6) Сергей Яковлевич Куркотин, ответственный товарищ из какой-то газеты.

Они возвращались ранним утром (тревога не прекращалась, и их не отпускали до конца комендантского часа, до семи), и Сергей Яковлевич на улице встретил свою знакомую.

Он не упустил случай, произнес целую речь перед ней, и эффектная молодящаяся дама стояла и слушала, глядя на него восторженными глазами:

— Зимой... — говорил Сергей Яковлевич, смешно и значительно насупив брови, — зимой, Валечка, наш дворник, стоя у самого края крыши, сбрасывал вниз снег. Я смотрел на него как на существо фантастическое, как на человека неопишущей храбрости. И вот, Валечка, мы стоим там же, где в мирное время стоял дворник, в брезентовых рукавицах, вооруженные лопатами и щипцами. Теперь это место называется «Пост № 6,7,8». К нам выведены концы пожарных шлангов. Отсюда превосходно видно, что делается на крышах других зданий. И вот, Валечка, представьте себе... гул самолета, его сопровождают мечущиеся по небу лучи прожекторов, зенитки торопливо бьют, вспышки разрывов рвут темное небо. Наши руки напряженно сжимают щипцы для зажигательных бомб, которые нужно бросить туда, если что... вы понимаете, Валечка, бросить мгновенно! — мы на посту, мы готовы их хватать за стабилизаторы и сбрасывать вниз, чтобы не дать поджечь наше жилье, нашу Москву... И вот... Немецкий самолет, преследуемый прожекторами, поспешно поворачивает. Он успевае т сбросить бомбы на соседние дома. Нам хорошо видны вспышки огня на крышах. Представляете, Валечка? Какой-нибудь бухгалтер одного из бесчисленных трестов, пожилой мужчина с животиком, хватается щипцами огонь, упавший с неба, и сует в ведро с водой. Или сбрасывает во двор и, наклонившись, кричит: «Туши там, внизу!...»

Дама слушала со слезами, и было видно, что ей хочется броситься Куркотину на шею.

— Да вы поэт, Сергей Яковлевич! — смущенно сказал Даня.

— А вот этот человек! — вдруг вскричал Куркотин, показывая на Даню. — Нет, я вам говорю истинно, вот этот человек — он заряжает нас всех своей молчаливой уверенностью, своей немногословной иронией, он душа боевого расчета! Мой друг... — гордо сказал Куркотин. — Мой друг, Даниил Владимирович Каневский.

— Очень приятно, — зардевшись, сказала Валечка.

— Хочется сказать — давайте отметим нашу встречу! Но, увы, рестораны в этот час еще закрыты, — попытался снизить этот невыносимый пафос Даня.

Но Куркотин и Валечка посмотрели на него с несколько брезгливым недоумением, как будто он икнул в опере.

Вот так рассказать Наде или девочкам о своем боевом дежурстве он бы никогда не сумел.

Впрочем, тут был нужен особый дар, которым, безусловно, обладал Куркотин.

Несмотря на свой возраст — а он был старше Дани, Куркотину было далеко за пятьдесят — несмотря на свою отдышку, нездоровую полноту, боли в суставах, несмотря на все признаки надвигающейся старости, Куркотин обладал даром зажигать и зажигаться. Это был удивительно вдохновенный тип. Он был настолько искренен в этом своем вдохновении, что Даня проникся необычной для него симпатией — ведь, в сущности, он совсем не знал этого человека, они виделись только во время дежурства.

Впрочем, однажды рано утром их, пожилых мужчин, ответственных работников разных ведомств и комиссариатов, погнали на строевую подготовку куда-то в район Красных казарм, где был огромный плац. Там им выделили место, и они тренировались, печатая шаг и выполняя команду: раз-два, кру-угом!

У Куркотина это никак не получалось, и тогда он отошел от строя и начал тренировать свой поворот сам. Было слышно, как он себе подсчитывает шаги:

— Раз, два, кру-угом.

Потом они стреляли из винтовки по мишеням.

Даня попал два раза, Куркотин три.

Возвращались в центр вместе на трамвае.

Куркотин вдруг спросил:

— На Гражданской воевали?

Даня неохотно кивнул.

— Где?

Вопрос не предвещал ничего хорошего. Такие вопросы задавали на партийных чистках. Ну и в другом месте. Но тут вроде бы иная ситуация была, не чистка и не допрос.

— На Юго-Западном фронте воевал, — коротко ответил Даня.

— Ясно, ясно... — торопливо кивнул Куркотин. — А я в политотделе Екатеринославского чека. Помнят еще руки, как заряжать винтовку, помнят...

Проехали еще некоторое время молча, и вдруг Куркотин сказал, задумчиво глядя в окно:

— Понимаете, Даня, — сказал он. — Таким людям, как вы, с вашей биографией... лучше всего сейчас пойти на фронт. Война все спишет. Это сейчас спасение для многих. Может быть, и для вас. Поверьте мне, опытному газетному волку.

Даня помолчал.

А потом ответил сухо и ясно:

— От судьбы не убежишь, Сергей Яковлевич.

Тот смутился и покраснел.

Приближение фронта — а фронт приближался к Москве со страшной, нечеловеческой скоростью — заставило многих задуматься о своем прошлом.

Фронт должен был залатать воронки, бреши и прорехи, которые в ином случае зияли бы почти в каждой биографии: коммунисты, прошедшие сквозь чистки, ссылки и иные наказания, но все же оставшиеся в живых и даже на воле — мечтали о фронте как о спасении своей репутации, если не жизни. Мечтали «искупить кровью» несуществующую, но осязаемую, и как бы повисшую снова в воздухе вину. Перед ними стоял сейчас этот выбор. И они делали его в пользу фронта.

Выйдя тогда из трамвая, Даня почувствовал себя так, будто объелся жирного, дышать было трудно, его даже чуть подташнивало.

Он сошел с трамвая много раньше, где-то в районе Покровки. И решил шагать до дома пешком.

Сначала он осторожно обдумал — а с какой стати Куркотин вдруг пристал к нему с этим? Может, не случайно? Может, он знает гораздо больше, чем говорит? Даня прекрасно изучил эту скользкую манеру напугать и ошеломить, как бы «между прочим», невзначай зацепившись за какое-то слово, за мелочь. Но здесь было не то. Не так.

Да и похож ли Куркотин на стукача?

Нисколько не похож. Важный, и в то же время смешной, вечно голодный, но гордый и напыщенный, как воробей на бульварной дорожке, сидящий в ожидании хлеба от скуповатой старушки.

Тогда почему? Откуда возникла эта тема?

«Ну неужели так трудно сообразить, — уговаривал сам себя Даня. — Гражданская война, мои явно неохотные ответы, да господа, просто опытный человек все понял, обо всем догадался».

Он медленно шел вверх по Покровскому бульвару.

Мимо прошел один патруль, потом второй. Процокала подковами лошадь под конным милиционером.

Прогрохотал трамвай. От Яузы поднимался густой молочный туман. Он зримо висел между ветками, рассыпаясь от соприкосновения с чем-то твердым — с птицей, стволом дерева, с его рукой.

Кора молодого тополя влажно блестела. В лужице плавал желтый помятый лист.

Стены домов были в сырости, в плавающем воздухе октября. Он сладко вдохнул этот северный воздух, который так и не успел еще до конца полюбить. Горький и сладкий одновременно. Предательский воздух.

В сущности, Куркотин говорил правду. Но и сам Даня тоже говорил правду: от судьбы не спрячешься ни на фронте, ни в тылу. От неизвестности не убежишь. Торопиться с этим не стоит. Смерть или жизнь — она найдет его сама. Поможет ли он фронту с винтовкой в руках?

Наверяд ли.

Вот Миля торопился, он всегда хотел все решать сам. Великий, могучий и непобедимый Миля.

На Цветном вновь встретил девушек с аэростатом. Зашел в столовую, чтобы согреться. Заодно съел борщ. Есть уже хотелось.

Мародерство в Москве началось сразу после первых бомбежек. Квартиры начали обчищать как раз во время тревоги, когда все хватали детей, документы и бежали в убежище. Участились грабежи дач. Сергей Яковлевич Куркотин, с которым они продолжали радостно общаться (а что еще делать долгими часами на крыше, когда самолетов нет?), очень беспокоился за свою писательскую дачу в Удельном по Казанской дороге. Говорил он, что грабежи дач теперь стали постоянными и что они приобретают все больший размах — выбивают стекла, выносят мебель, вещи, портят обои, ничего не боятся.

Вначале Даня беспокоился за двоюродного брата Моню в Малаховке, но потом,

съездив к нему пару раз и оценив обстановку, беспокоиться перестал: дачи с жильцами не трогали, лихие набеги угрожали домам, что были покинуты хозяевами, стояли наспех заколоченными — а таких становилось все больше и больше, люди потихоньку начали уезжать из Москвы, складывать вещи, частенько отдавая дворникам и лифтерам на хранение самое ценное, стали закрывать квартиры, заколачивать дачи, идея борьбы с *беглецами* уже тогда захватила умы, и московские воры, пока уклонявшиеся успешно от армии, и зеленые юнцы, бывшие в услужении у воров, этим пользовались. Иногда они прямо вступали в сговор с лифтерами и дворниками (случались ведь и среди них нечестные или слабые люди), иногда взламывали пустые квартиры, а еще чаще — выезжали на богатый дачный промысел.

В течение 20-х и 30-х годов Москва вновь начала обрастать дачным жирком — привозили сюда и мебель, казенную и свою, привозили то, что хотели скрыть от чужого глаза: картины, книги, иконы, антиквариат, дорогие реликвии, альбомы с фотографиями, репродукции, клубки шерсти и катушки ниток, швейные машинки, дачную утварь, все это теперь осиротело и ждало новых хозяев — мародеры, ничуть не стесняясь, подгоняли к дачам грузовики и, выгружая содержимое деревянных особняков, работали порой целый день, а потом сбывали оптом.

Куркотин, опасаясь за свою дачу, навещался в Удельную с Казанского вокзала чуть ли не через два дня на третий, ночевал в абсолютно промерзшем помещении, греясь от взятой напрокат у соседа буржуйки, вывозил потихоньку самое ценное обратно в Москву, словом, оборонял рубежи своей малой родины как мог — но и это не помогло.

Однажды он пришел на крышу совершенно подавленный, не в силах даже начать разговор.

— Что случилось, Сергей Яковлевич? — спросил Даня, не выдержав этой гнетущей тишины.

— Даже не спрашивайте.

В темноте скорбно белело лицо ответственного секретаря газеты «Московский большевик», и хотя черты этого лица едва угадывались, Даня понял: у Куркотина неприятности, и пожалел его про себя.

— Я приезжаю на дачу, в пятницу... Ну, в Удельную. Как всегда, на ночь глядя, в городе же у меня много дел, освобождаюсь поздно. Готовим антивоенный митинг в Парке Горького, выступления писателей. Кстати, приглашаю вас с супругой. В следующее воскресенье. Там бывает интересно, очень яркие боевые выступления. Так вот, приезжаю уже в темноте, и что же вы думаете?..

Он горестно вздохнул.

Когда Куркотин сильно волновался, в голосе его явно начинали слышаться родные южно-русские интонации. Одесса, Николаев, Харьков. Может быть, Даня полюбил его за это? Больше было не за что...

— И что же вы думаете... — Куркотин нервно прошелся по крыше, загрохотало кровельное железо, все оглянулись, он остановился испуганно и как-то неуверенно, жалко оглянулся на Даню.

— Я раньше дачу всегда недолюбливал, а тут, понимаете, подхожу и сердце сжалось, прямо вот сдавило: все, и дом, и сарай, и забор — все вроде цело, но в заборе выломано два проезда, как ворота для телеги или для грузовика, из дома все вытащено, все разграблено, остались только одна кровать без матраса на втором этаже и простые столы да мой канцелярский стол, вот и все, причем, что интересно, негодяи хулиганили, часть посуды побили, осколки валяются между грядок, а я же, как вам сказать, я же приезжал и чтобы придать этому делу какое-то осмысленное выражение, ну, я доставал садовый инструмент, тут окопашь, тут прикроешь, холода же уже, и вот, достаю из сарая инструмент, начинаю окапывать, окапываю и плачу, окапываю и плачу, вот нет сил сдержаться, Даниил Владимирович, верите ли...

Куркотин всхлипнул.

Он плакал тихо, скромно — так, чтоб никто не слышал и не видел, Даня же в этот момент испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, это был стыдный момент — они стояли на крыше в ожидании налета, бомбежки, враг подходил к Москве, тяжелая зима наступала в столице, война уже сейчас отнимала миллионы жизней, и хотя об этом не говорили по радио, не называли цифр, слухи ползли по городу, и каждый раненый, каждый прибывший с фронта рассказывал — вполголоса — о кошмаре первых месяцев, о гибели и пленении едва ли не большей части армии, а тут человек стоит и плачет о каких-то дурацких вещах, вынесенных с дачи, о постельном белье, посуде, всяких безделушках, но Даня почему-то хорошо понимал его: страшна именно та беда, которую не ждешь, и вот это ощущение человеческой подлости, *совершенно* неминуемой — все это было понятно, он приобнял Куркотина за плечи и тихо велел замолчать.

И тот испуганно замолк.

На работе теперь часто объявляли внеочередные собрания, люди выходили в коридор, курили торопливо, спрашивая друг друга, а что случилось, и понуро шли в актовый зал, где висели огромные портреты Сталина и Молотова и где постоянно что-то докладывали, объясняли и провозглашали. Впрочем, многим это нравилось, с удовольствием бросали работу и, оживленно переговариваясь, шли слушать новости.

На одном из собраний (это было, кажется, в сентябре) объявили, что начинается сбор народных средств для танковой колонны «Красный текстильщик». Каждый сдает в оборонный фонд, сколько может, но потом все отделы обошла секретарь Аглая Семёновна и пояснила, что меньше тысячи рублей нельзя, это «нижний предел», начальник их отдела хвастливо объявил, что сдает четыре тысячи, «все свои сбережения», — врет, подумал Даня, но ничего не сказал и после работы пошел в сберкассу.

На книжке лежало девять тысяч. Даня решил, что снимет ровно тысячу, потом вздохнул и снял две.

Уже пошли неприятные слухи об эвакуации всех подразделений Наркомлегкпрома. Шепотом (паника — дело подсудное) обсуждали, действительно ли придется уезжать из Москвы. Начальника, который сдал аж четыре тысячи, в первом отделе ознакомили с генеральным планом эвакуации — в той части, что касалась их ведомства.

Он пришел жутко мрачный и ни с кем не разговаривал целый день. Все поняли, что дело серьезное, в дальнейшем стало известно, что в плане обозначили точку — Барнаул.

Даня твердо решил про себя, что оборонный займ — дело правильное, хорошее, но больше двух тысяч он не даст, потому что, по всей видимости, семью скоро придется обустроить на новом месте. Хоть какие-то наличные деньги с собой иметь нужно.

К тому же он хорошо помнил оборонный займ первой германской войны, этот прекрасный патриотический порыв, и как люди покупали царские облигации. Эти красочные плакаты, агитирующие их покупать — тогда, в 1914 году, на глаза общества впервые явилась Родина-мать с распущенными волосами, тогда она, правда, звалась на плакатах по-другому: «Россия», и была одета в нарядное платье, но он помнил, как отец бережно считал эти облигации военного займа и потом прятал их в комод.

Ничего не пригодилось. Ни займы, ни мобилизации, ничего. И войну проиграли. Правда, выиграли затем революцию...

Но тем не менее, в профкоме выделили некоего человека по фамилии Свиридов, который, начиная с 15 сентября, снова начал собирать деньги на танковую колонну «Красный текстильщик». Этот Свиридов был маленький, в коротком пиджачке,

стоптанных штиблетах, он бочком заходил в их отдел и, поправляя галстук-селедку, тихо и как бы просительно предлагал сдавать деньги. Когда он подходил к столу товарища Каневского, Даня так же тихо, с тем же выражением настойчивой просительности отвечал Свиридову:

— Я уже сдал две тысячи на «Красный текстильщик», посмотрите в записях, пожалуйста.

— Ой, сдали, правда? — изумлялся Свиридов, и начинал смертельно долго листать свой пухлый блокнот, испещренный записями.

— Да-да, да-да... действительно, — с выражением крайнего удовлетворения говорил он и потом спрашивал еще тише:

— А на следующий «Красный текстильщик» не хотите, значит?

— Я позже сдам, — твердо говорил Даня и утыкался в бумаги.

Как-то раз в столовой Даня подсел к главному бухгалтеру Виктору Матвеевичу и спросил, что он думает насчет того, как учитываются эти средства и как узнать конкретно, на какой танк или самолет что потрачено.

Виктор Матвеевич испуганно оглянулся.

— Да бог с вами... — наконец, сказал он тихо. — У вас же такой профессиональный опыт. Никто там не считает, красный текстильщик или юный ленинец. Ваши там деньги или чьи-то еще. Это всего лишь конфискационный налог. Без этого сейчас нельзя. Нельзя допустить инфляцию, понимаете? Иначе из магазинов исчезнет последнее.

Между тем, Свиридов все никак не успокаивался, и было видно, что в этом тщедушном скромном человеке загорелись подлинные страсти, и в душе его кипела настоящая буря, может быть, потому, что впервые в жизни он выполнял такое важное и ответственное поручение партии и правительства.

И больше того, в отказе Дани он видел не просто отказ, с кем не бывает, а попытку отнять у него эту важную миссию, обесценить ее в глазах коллектива, унижить его человеческое достоинство, поднявшееся теперь на небывалую высоту.

— Так что, товарищ Каневский, вы по-прежнему в займе не участвуете? — теперь спрашивал он, войдя в кабинет и приняв некую позу, наподобие той, что принимает футболист, готовясь пробить пенальти — нагнувшись и глядя исподлобья.

— Товарищ Свиридов, всему свое время! — улыбаясь, говорил Даня, но внутри у него все дрожало от нервного гнева. Ну какой же паршивец.

Не выдержав, он рассказал об этом Наде и та, смертельно напугавшись, строгонастроено велела ему немедленно снять со счета оставшиеся семь тысяч и отдать их на «Красный текстильщик», иначе будут неприятности.

...У Дани порой случались странные, неожиданные реакции на бурные выражения ее чувств — страха, гнева или веселости — он как-то внутренне замирал и пытался «поймать секунду», так он называл это про себя — в ней, в этой самой секунде, все было прекрасно — и эта белая сорочка, спадавшая с плеча, и глаза, сверкавшие, как угли в темноте, и волосы, рассыпанные по плечам, и, главное, вот это ощущение общего уюта, бедного, но родного, который растекался по жилам — все эти выглаженные салфеточки, уютно пахнущие пряностями комоды, тарелки, видневшиеся из-за витражного стекла, ходики, тикавшие над головой, все это вместе рождало в нем ощущение немислимого покоя, всегда животворно действующего на душу, истомившуюся в поисках смысла, и он смеялся над ней, обнимал и успокаивал как мог.

Потом она засыпала, сначала вытирая слезы по щекам, заставляя его пить капли валерианы, ходила, шаркая тапочками, и вновь успокаивалась, а он долго лежал в темноте этой комнаты, служившей им и спальней, и гостиной, и кабинетом (в другой комнате спали трое их детей) — и думал о том, что же ждет их впереди.

...Не то чтобы он прислушивался к Надиным советам, но всегда имел их в виду.

Вот и тогда, в сентябре сорок первого года, он все-таки решил снять все деньги со счета и большую их часть отдать на «Красный текстильщик-2», денежная конфискация так денежная конфискация, как вдруг произошло неожиданное — оказалось, что Свиридов погиб при бомбежке.

Взрыв на площади Ногина не остался так ярко вписанным в анналы московского героизма, как другие какие-то эпизоды обороны, наверное, потому, что в нем не было воинского подвига, — это было большое горе, ограниченное в себе самом: тогда образовалась огромная воронка и вокруг все было в кровавой грязи, в обломках небольших зданий...

Так случилось, что личный состав практически всех противопожарных расчетов (то есть и Даню, и Куркотина, и всех их товарищей) прислали на «санитарную обработку» района бомбежки, им выдали лопаты, носилки, нехитрые респираторы, ведра, и они таскали грязь с развалин в течение пяти часов, иногда подзывая санитаров, если видели человеческие останки.

Куркотина пару раз вырвало, но Даня держался...

В конце они уже ничего не соображали от усталости и разъехались по домам в унылом молчании. Даня лег на кровать, не раздеваясь, и заснул. Надя молча сняла с него грязные ботинки и попыталась подоткнуть хотя бы сбоку старым покрывалом, чтобы он не пачкал белье.

Все то время, все пять часов, пока Даня таскал на носилках мусор, выворачивал из земли залепленные грязью бревна и отгонял прохожих, некоторые из которых искренне плакали, он непрерывно думал об этом Свиридове и почему именно так получилось. Он, правда, погиб не совсем здесь, бомба попала прямо в горком партии, но сейчас это была одна общая воронка, общая яма.

И опять эта глупая мысль сидела в башке: а может, Свиридов погиб вместо него?

Таких людей Даня не любил — они всегда слепо подчинялись воле большинства, а иногда не только слепо, но и радостно, испытывая восторг или злорадное торжество, когда казнили и уничтожали кого-то другого, они жили в мире странных слов, выученных ими невесть где, они трудно думали и говорили чужими фразами, но сейчас, разгребая завалы на площади Ногина, Даня не то что устыдился этих своих старых мыслей, он подумал о Свиридове по-другому — все-таки у него, где-то глубоко внутри, было чувство собственного достоинства. И потом (Даня это знал) у него была семья, он ею гордился, женой и маленькой дочерью, и потом (Даня впервые об этом задумался) у Свиридова был в глазах какой-то проблеск, какая-то вера в человечество, когда он шел по коридору со своими бумажками и собранными на строительство танковой колонны «Красный текстильщик» чужими рублями, а теперь этого ничего нет, и возможно, вот этот страшный ком глины с торчащими из него рваными ботинками — это все, что осталось от Свиридова.

Даня сдал все деньги, какие у него были, и попросил Надю что-то продать на барахолке, чтобы было что-то на черный день.

И она продала мамино столовое серебро. Не все, но кое-что. И еще мамину брошь.

В те же сентябрьские дни Данин старый друг еще по Одессе — Иван Петрович Гиз — твердо решил пойти в московское ополчение. Он работал в системе Наркомпроса, был методистом, и там же был партторгом. Гиз позвонил Дане по служебному телефону и пригласил зайти к нему домой попрощаться. Каневский сел на трамвай и поехал на Потылиху.

В комнате, за длинным столом, часть которого вылезала в коридор коммунальной квартиры, уже сидела вся семья, и не только: сидели соседи, сослуживцы, чьи-то дети,

чья-то жены, всего человек, наверное, тридцать, стол был уставлен простой закуской, пили водку, виднелось также несколько бутылок вина. Даня сел на краешке стола и прислушался к разговорам.

Обсуждали, как погонят фашиста до Берлина, Иван Петрович шутил, что должен привезти подарки на всю квартиру и, шутя, заготовил даже блокнотик, куда записывал пожелания: кто-то, смеясь, просил пудреницу, кто-то кофточку. Кто-то хороший немецкий велосипед.

Жена Гиза, скромная Марья Ивановна, часто отворачивалась — видимо, не в силах сдержать слез.

Вышли с Гизом покурить.

Горячась, он начал рассказывать, как в первые же дни войны все наркомпросовские коммунисты пришли к нему в партком, чтобы записаться добровольцами и на следующее же утро отправились в Краснопресненский райком партии, где уже стояла огромная очередь таких же, как они, товарищей.

— Вот только представь себе! — говорил Гиз. — Я такого не видел со времен Гражданской войны. Огромная толпа людей! И все как один человек...

Даня кивал. Потом, выждав паузу, спросил:

— Сколько тебе лет, Ваня?

— Неважно!

Пошли в комнату, еще выпили. В разгоряченных голосах уже трудно было что-то разобрать и разобраться: что, кто, зачем, кому говорит, — но было ясно одно, что для Ивана это был настоящий праздник, Даня внимательно всматривался в лица — женщины не скрывали тягостных, тяжелых своих дум, дети безудержно веселились, мужчины же переживали великий подъем...

— В райкоме нас всех переписали и отправили назад! Но... шалишь! — продолжал кричать радостным голосом Гиз. — Шалишь! Мы снова и снова ходили, нас снова и снова посылали по домам, и вот — наконец! — пришла повестка!..

Он доставал серую аккуратно сложенную бумажку (в который уж раз, в четвертый? — механически фиксировал Даня, наливая себе снова рюмку и закусывая огурцом) и тряс ею высоко над головой:

— Завтра! Завтра! Мы все, коммунисты Наркомпроса, отправляемся от Чистых прудов, от самого главка на автобусе.

Наконец, жена Гиза не выдержала и всхлипнула в голос.

Гиз, уже ничего не стесняясь, громко шептал ей в ухо, но так, что слышали все:

— Пойми, Маша, пойми, как для меня это важно. Перестань!

Пошли во двор танцевать.

Когда стемнело и гости стали расходиться, Даня тоже накинул пальто и шляпу и шагнул к дверям.

Вдруг Гиз схватил его за руку и внимательно посмотрел в глаза:

— Может, проводишь?

— Когда?

— Завтра, с раннего утра...

Даня решил остаться у Гизов. Наде позвонил (недавно в их квартире по заявке Наркомлегкопрома поставили телефон, но соседи плохо понимали, что это его заслуга, часто занимали аппарат или отгоняли его от аппарата, ну да бог с ними) — и не терпящим возражений голосом сказал, что завтра провожает в армию Ивана Петровича.

— А кто это? — испуганно спросила она.

— Иван Петрович Гиз. Из Одессы, — недовольно повторил он и повесил трубку. Вышел из телефона-автомата, до которого долго шли они по Потылихе.

В темноте они с Гизом добирались обратно — кругом была тихая московская ночь, и Гиз вдруг сел на какой-то ящик.

— Не хочу домой, — сказал он неожиданно протрезвевшим голосом. — Там опять слезы, рыдания. Давай еще погуляем.

— Давай...

Даня стоял рядом.

— Как думаешь, сколько все это продлится, Даня?

— Не знаю. Тебе видней. Ты же коммунист, ты политинформации читаешь, не я.

Гиз молчал.

Немцы уже взяли Смоленск.

— Пойдем спать... — устало сказал Даня. — А то я не смогу проснуться с утра, и будет неудобно.

Гиз неожиданно рассмеялся.

Пока они шли, Даня посматривал на него сбоку. Гиз шел в пиджаке, без пальто, изо рта у него валил пар — глаза были устремлены куда-то внутрь. Но было видно, что он совсем не чувствует холода.

Поначалу, когда Даня остался ночевать, Гиз собирался на кухне петь старые боевые песни, вспоминать прошлое, но теперь погрузился в полное молчание, и Даня не хотел ему мешать.

В автобус, уходивший от Наркомпроса, все, конечно, не поместились. Решили добираться до Краснопресненского райкома на городском транспорте — сели в двухэтажный троллейбус и поехали, возбужденно окликая друг друга и пытаясь шутить. Таких возбужденных мужчин тут было много.

Гиз объяснил, что сначала они едут в райком, где снова пересчитывают коммунистов, чтобы равномерно распределить их по ротам.

Во дворе особняка — верней, в старом саду — расположилась огромная толпа, ожидавшая очереди. Она тянулась к столу, за которым сидели трое — военком, секретарь райкома и кто-то еще третий в штатском, наверное, из органов.

Они с Гизом сидели на траве.

— Ты можешь идти, — тихо сказал Гиз. — Я тут уже среди своих. Заходи к моей семье иногда, ладно? Больше вообще-то некого попросить.

Даня кивнул, но не ушел.

— Почему ты не уходишь? — внезапно спросил его вдруг повеселевший Гиз. Наверное, на него подействовало всеобщее возбуждение, атмосфера праздника. Люди пели. Кто-то плясал.

Даня пожал плечами, но снова остался.

Он иногда подходил к столу и слушал, как проходит собеседование. Человека искали по спискам и просили повторить его фамилию, имя и отчество.

Почти все тут были коммунистами.

Военком, суховатый пожилой мужчина, смотрел сквозь очки на бесконечные ряды фамилий, отмечал подошедшего едва видной карандашной точкой:

— Фамилия, имя, отчество? С какого года в партии? Вы отказываетесь от брони сознательно или по принуждению?

Один кинорежиссер с «Мосфильма» вдруг запнулся и сказал:

— Я отказываюсь от брони сознательно, но вообще-то больше пользы могу принести в тылу, занимаясь своей непосредственной профессиональной работой... Но сознательно, да.

Военком посмотрел на него, значительно вздохнул и сказал:

— Подумайте еще, товарищ. Сделайте шаг в сторону. Приходите завтра.

Долго еще видел Даня этого режиссера, который ходил кругами вокруг райкома, не в силах принять решение...

Гиза военком тоже спросил, но как-то уже устало:

— Сознательно или по принуждению?

Иван Петрович ответил невпопад:

— Хочу бить фашистов!

Энкавэдэшник хмыкнул, военком кивнул и поставил свою еле заметную карандашную точку в списках.

Даня с Иваном обнялись.

Больше Ивана Петровича Гиза, своего старого товарища, Даня не видел никогда.

То, что война будет, Даня понял еще году в тридцать четвертом. Об этом говорили ему не новости о Гитлере или Чемберлене, не сдвигающиеся границы, не воследовавшие *малые* войны, не «хрустальная ночь», не преследования коммунистов в европейских странах и не что-то еще. Об этом сообщал ему сам язык, на котором начали писать советские газеты.

В этом языке грядущая война, о которой раньше (в двадцатые годы) говорили как о божественном предначертании, мистической *очищающей* грозе XX века, великой мировой революции, которая, конечно же, неизбежна, — эта война стала вдруг обретать совершенно конкретные бытовые черты.

Много писали о вооружениях, вдаваясь в технические подробности. Огромные статьи выходили о военных учениях. Появились в большом количестве военные стихи и песни. Постепенно будущая война как некое большое важное дело для всей страны отодвигала прочь другие дела — подвиги полярников, рекорды стахановцев, фильмы и книги. Верней, война подчиняла себе остальное — полярники укрепляли северные рубежи, стахановцы добывали уголь для военной промышленности, поэты писали для армии — и даже «борьба за мир» понималась через будущую войну.

Язык войны проникал в гущу обыденного газетного языка, которым сообщали о спорте, о культуре и науке — идея великого столкновения переставала носить черты космической абстракции, а становилась предощущением конкретных и ясных событий.

До ареста Мили они с ним часто говорили об этом — например, о том, как же это можно: в мгновение ока разрушить мировую экономическую кооперацию, только-только начавшую возникать, огромный торговый оборот, который образовался между советской Россией и странами Европы, международные инвестиции в нашу промышленность — как интеллектуальные, технические, так и денежные — ведь покупать у советских стало выгодно.

Миля слушал его внимательно и качал головой в нетерпении:

— Нет, нет, слушай... Все это не так... Есть вещи поважнее. Пойми, есть вещи поважнее.

После его отъезда в Киев и внезапного ареста эти их разговоры закончились. Было уже не до мыслей о войне и мире.

Война в тридцатые годы сделалась для всех желанной — и вот теперь эти желания исправно исполнялись.

Так думал Даня, возвращаясь домой от Краснопресненского райкома.

Утром пятнадцатого октября его разбудил Куркотин.

Это было странно, он ему никогда не звонил. Даня даже не понимал, откуда он взял его телефон.

— Здравствуйте, Сергей Яковлевич! — вежливо сказал он, с трудом разлепляя глаза и запахивая полы халата. — Что-то случилось? Нас куда-то вызывают?..

— Даниил Владимирович! Даня! — закричал Куркотин в трубку. Голос его искажался и был неузнаваемо-хриплым и истошным. — Мне очень нужна ваша помощь! Мне больше не к кому обратиться! Давайте встретимся!

Даня позвонил к себе на работу, что немного задержится, заедет в наркомат. И пошел к Куркотину домой.

Сергей Яковлевич жил в кооперативном доме на Площади Борьбы. Этот скромный газетный волк, как оказалось, был еще и секретарем парткома московской писательской организации.

Даня церемонно поднялся в лифте с зеркалами на четвертый этаж, волнуясь, нажал кнопку дверного звонка. Давненько он не бывал в отдельных квартирах ответственных работников.

Однако внутри квартира Куркотина представляла собой поле битвы.

На полу были густо свалены вещи: пальто, шапки, одеяла, чайники и кастрюли, которые пытались запаковать в узлы из старых одеял, какие-то ящички и коробки, перевязанные бечевкой. Между ними ходил Куркотин в пижаме и ботинках на босу ногу. У него под ногами болталась маленькая девочка, она хотела участвовать в процессе, пытаясь сложить в маленький чемодан своих кукол.

Из кухни вышла хозяйка, тихая полная аккуратная женщина и, еле слышно поздоровавшись с Даней, предложила ему чаю.

— Спасибо, я не хочу, — кланяясь, ответил Даня.

— Давайте-давайте! — вдруг возопил Куркотин своим трубным гласом. — Нам с вами необходимо подкрепиться.

Даня пожал плечами и вошел в кухню.

Там было все то же: открытые дверцы комода, выдвинутые ящики буфета, заставленный бокалами, тарелками и какими-то банками кухонный стол, где жена Куркотина с трудом освободила для них место.

Когда чай наконец был на скорую руку приготовлен, Рина Иосифовна скромно удалилась, плотно прикрыв за собой дверь, а хозяин начал рассказывать «страшные вещи».

— Я вам сейчас скажу страшные вещи, — начал Куркотин, — но я думаю, что вы, с вашим умом, с вашим огромным жизненным опытом, — Даня поморщился, мол, к чему эти церемонии, Куркотин немного запнулся, но тут же, после небольшой паузы, продолжил: — Даня! — торжественно сказал он. — Нужно уезжать и увозить своих близких, немедленно, сейчас, понимаете меня? Немец близко, он на пороге.

Даня смотрел на Куркотина равнодушно, все это не было никаким секретом, сто километров от Москвы, конечно, это близко, но план эвакуации был давно утвержден.

— Да нет, вы не понимаете, — страшно зашипел Куркотин, — завтра, уже завтра все правительство, все учреждения, все министерства, все предприятия в пожарном, срочном, — зашипел он, — понимаете что это значит? — в срочном порядке эвакуируются из Москвы, промедление смерти подобно, поверьте мне, Даня, можно уйти от немцев, но нельзя уйти от погромов, от народных волнений.

— От чего? — удивился Даня.

— Да послушайте вы! — громким шепотом, как бы сорванным от переполнявших чувств (артист, подумал Даня, не зря на митингах в Парке Горького выступает), Даня, послушайте меня — здесь оставаться опасно, в народе растет самый пещерный, дремучий антисемитизм, вот сегодня я иду, забрал вещи, у тещи забрал, мне на улице вслед кто-то шипит: ну что, драпаешь, жидовская морда?

— А теща остается? — вдруг спросил Даня.

Куркотин остановился. На минуту повисла тишина.

— Что вы спросили? — другим, изменившимся голосом сказал он.

— Ваша теща остается или уезжает? — громко и внятно повторил свой вопрос Даня.

— Уезжает, конечно... — сказал Куркотин. — Как же она тут останется одна, старый больной человек. За Любочкой будет там присматривать...

Даня никак не мог понять, зачем Куркотин разбудил его так рано и попросил срочно приехать — в чем, так сказать, была его роль в этой семейной драме.

— Дания, нужно уезжать немедленно! Умоляю вас... — И увидев, что Дания по-прежнему смотрит неподвижно, Куркотин вдруг закричал в полный голос:

— Евреи должны уезжать из Москвы немедленно, понимаете?

Рина Иосифовна испуганно выглянула из-за дверей, но наткнувшись на гневный взгляд мужа, исчезла.

— Вам нужна моя помощь? — вдруг догадался Дания.

Куркотин опять зашептал, что да, да, конечно, ему нужна помощь, ему поручили «на самом верху» организовать срочную эвакуацию писателей, на московских вокзалах хаос, паника, никто вагонов не дает, все нужно решать на месте, а причем тут я, удивился Дания, ну вы же видите, что у нас происходит, я не справлюсь и с погрузкой, и со всем на свете, Дания, умоляю, я нашел в вас настоящего, подлинного друга, Дания опять поморщился, ну простите, Дания, мне больше не к кому, вообще не к кому обратиться, помогите отвезти семью на Казанский вокзал, когда, спросил Дания, завтра с утра, прошу вас, умоляю, и Куркотин встал на колени...

«Может быть, он сошел с ума?» — холодно подумал Дания. Ведь так бывает...

Все, о чем говорил Куркотин, действительно не было для него секретом. Еще неделю назад Надя, придя из бомбоубежища, рассказывала, как целый час кто-то очень громко и очень нехорошо рассуждал, что евреи бегут из города, оставляя «простых людей» на растерзание оккупантов. Люди слушали потрясенно, задавали уточняющие вопросы, никто не возражал. Когда тревога кончилась и свет зажегся, стали искать говорившего, но его и след простыл. О том, что евреи бегут из Москвы, судачили в очередях. На остановках. Все это было неприятно, но ничего удивительного в этом Дания не находил. Новостью для него в рассказе Куркотина была только дата — эвакуация, например, предприятий легкой промышленности была намечена на конец октября. Он же говорил про ближайшие дни, чуть ли не про завтра.

И самое главное, он никак не мог взять в толк, каким образом спасти семью Куркотина от народного гнева мог он, Дания Каневский.

Но все оказалось проще.

Куркотин просто хотел, чтобы Дания помог его семье доехать до вокзала и погрузиться в поезд. Сам он должен был всю ночь дежурить на Казанском, чтобы, наконец, «выбить писательский вагон».

— Это вы будете выбивать вагон для писателей? — спросил Дания.

Куркотин радостно закивал.

— Дания! — он снова перешел на громкий торжественный шепот. — Я вам найду место! Я вам обещаю. Помогите моей семье, и можно будет ехать в нашем вагоне...

— Ну что вы... — легко сказал Дания и встал. — Мы эвакуируемся совершенно в другой город. Я подъеду завтра рано с утра, я вам обещаю.

Все оказалось совсем не так легко, как он думал, посмеиваясь про себя и выходя в то утро из квартиры Куркотина. 16 октября в шесть утра, как и договаривались, он нажал на кнопку звонка, дверь мгновенно открылась, как будто его тут давно ждали, и Дания ахнул. Вся прихожая и полкомнаты были заставлены чемоданами, баулами, тюками и корзинами. Рина Иосифовна не спала всю ночь, Любочка сидела уже одетая, в пальто и шапочке, тут же была и растерянная теща Куркотина — Ребекка Израилевна.

— Куда же вы едете? — спросил Дания, пытаясь успокоиться и успокоить их.

— Чистополь. Татарская республика, — сказала Рина. — Вы нас простите, пожалуйста. Но у меня безумный муж.

— Он действительно сможет организовать целый вагон? — спросил Дания. — А то ведь писатели не уедут. Весь цвет, можно сказать, социалистической литературы...

— Я не знаю... — прошептала Рина, чуть не плача. — Я только знаю, что нам сейчас нужно оказаться на Казанском вокзале.

Даня поднял первый чемодан и тихо охнул... Вся долгая жизнь Куркотина, показалось ему, была набита в этот чемодан.

— Простите нас... — еще раз сказала Рина.

— Знаете, что... — разозлился Даня. — Давайте договоримся — вы помогаете мне, я вам, и больше никаких изъятий чувств. А то я все брошу, и на моей совести будет огромный тяжелый камень.

Она кивнула молча.

Даня спустился вниз к лифтеру. Как оказалось, Куркотин еще вчера ночью оставил лифтеру ключи, попросил присмотреть за квартирой, сунул на хранение самые ценные вещи и попрощался. Совершенно он не был безумен, этот Куркотин. «Наверное, главный безуменный в этой ситуации — я», — подумал Даня.

Лифтер согласился придержать лифт и предупредить жильцов, пока Даня спускает вещи. Всего было двадцать шесть мест. Пришлось съездить на четвертый этаж второй раз. А потом и третий — уже за людьми.

В опустевшей квартире сидели три женщины — старенькая, средняя и маленькая. Печально тикали ходики. Даня остановил их, тоже присел, и тогда они, вздохнув, сразу втроем, встали и взялись за руки.

Даня пожал лифтеру руку, денег не требовалось, как выяснилось, Куркотин уже сколько-то ему заплатил.

— С богом! — сказал лифтер и перекрестился.

Видимо, он хорошо относился к их семье. Куркотин и его успел вдохновить.

Даня никак не мог взять в толк, почему именно он должен помогать вывозить скарб и семью из этой огромной богатой квартиры, почему именно на его плечи легла эта святая обязанность по спасению советской литературы, мастеров, так сказать, социалистического реализма, но потом плюнул и решил больше голову не ломать.

— Значит так, — сказал он Рине, — послушайте меня. Я переносу вещи к трамвайной остановке, вы стережете все остальное. Нанять и попросить я никого не могу, все растащат. Если будут пытаться что-то украсть, зовите милиционера.

На остановке Дане пришлось оставить Ребекку Израилевну с маленькой Любочкой — тут присматривать за вещами должны были они. Пошел обратно, практически побежал. Двадцать шесть мест он перетащил один за пятнадцать минут. Его слегка подташнивало (с утра не успел ничего поесть, сказал, что торопится на работу), руки отваливались, в голове шумело. Они немного передохнули в ожидании трамвая.

Но дальше все было сложнее. Во-первых, в этот день трамваи ходили редко. А метро не ходило вообще. Даня попытался взять извозчика — и это тоже было невозможно, да и не влезли бы они с вещами.

Когда люди увидели, как он втаскивает первый чемодан в вагон трамвая (нужный номер подошел минут через двадцать), поднялся ропот.

Но Даня вошел в кабину водителя и быстро с ним договорился, незаметно сунув рубль.

— Граждане! — невозмутимо заговорил водитель громким поставленным голосом. — Соблюдайте спокойствие! Помогите товарищу, а то будем стоять еще двадцать минут.

Народ, быстро сообразив, что к чему, помог закидать вещи на заднюю площадку. Трамвай, прозвенев, медленно тронулся в сторону Крестовского моста.

Кое-как, с пересадкой, они добрались до Казанского...

Народ уходил из столицы пешком, иногда на гужевом и колесном транспорте. Уходил по восточным направлениям — по шоссе Энтузиастов и Рязанке. Уходил и с

вещами, и налегке. Вагонов и грузовиков на всех не хватало. Женщины катили перед собой детские коляски с сумками и чемоданами, держа детей на руках. Мужчины тащили узлы, закинув на спину. В районе Садового все потоки со всех улиц соединялись, и начиналась давка. Даня видел, как обезумевшие люди пытались выкинуть какие-то вещи из грузовика, где ехала явно всего лишь одна семья, и погрузить на грузовик своих.

Там была драка. Милиционер выстрелил в воздух. Закричала какая-то женщина. Все это было страшно.

Впрочем, думать было некогда. Нужно было скорей перетаскивать чемоданы.

На Казанском стало совсем плохо. Огромный гулкий вокзал был наполнен обезумевшим народом. Пройти сквозь толпу к перронам было невозможно. К тому же не пускали милиционеры и солдаты. Вооруженные люди стояли цепью, рассекая вокзал на две части. За их спинами тоже клубилась толпа, но значительно более редкая — там виднелись какие-то организованные очереди, люди даже ели пирожки, то есть осмысленно чего-то ждали. Здесь — пытались прорваться поближе к цепи солдат.

— Что же мы будем делать? — растерянно спросила Рина, когда он наконец перетащил все чемоданы от остановки.

— Не знаю. Стойте здесь. Сейчас отправим вас в Чистополь.

Выйдя на Комсомольскую площадь, он закурил. Руки тряслись от напряжения, он с трудом зажег спичку.

Очень хотелось повернуться и уйти, в конце концов, он свое обещание выполнил, пусть дальше сами. Но так нельзя. Их тут просто затопчут.

Наконец он сообразил и подошел к милиционеру, который охранял какую-то дверь.

— Товарищ, где стоят литерные вагоны? — спросил Даня.

— Какие? — не понял милиционер. Даня терпеливо объяснил.

Милиционер адресовал его к товарищу в штатском, который вышагивал взад-вперед возле той же загадочной двери.

Штатский выслушал молча и скрылся. Там, за дверью, тоже стоял часовой.

Вышел еще один штатский.

— А вы сами-то кто будете? — лениво осведомился он.

— Я родственник товарища Куркотина, — сказал Даня. — Сам он занимается оргвопросами, а я привез его семью.

— Неплохо... — усмехнулся штатский. — Ладно, сейчас я узнаю, стойте тут.

Писательский вагон находился очень далеко от вокзала, на каком-то семнадцатом пути, идти туда надо было с километр, если не больше.

Небо меж тем потемнело, и посыпался ранний мелкий снег.

На фоне странного темно-малинового неба он смотрелся празднично.

Даня перетаскивал чемоданы уже около часа.

Белая, как скатерть, Рина пыталась успокоить маму и дочь.

— У вас есть еда? — спросил Даня. — И вода... Возможно, вам придется ждать тут до утра.

— Еда есть. Хотите?

— Нет... — сказал Даня. — Я хочу скорей выполнить поручение вашего мужа.

— Даниил Владимирович! — закричал вдруг кто-то у него над ухом.

Скача по шпалам, их догонял Куркотин.

— Господи, как хорошо, что я вас нашел!

— Это мы вас нашли, — уточнил Даня.

— Вы не представляете, что тут творится! — кричал старый газетный волк. — Это какой-то ужас, бардак, это вредительство... Но давайте же я вам помогу.

Вместе с Даней они быстро перетаскали чемоданы к вагону.

Даня, наконец, не выдержал и спросил:

— Зачем так много вещей, Сергей Яковлевич?

Куркотин покраснел и сказал негромко:

— Бог знает, сколько мы будем ехать, бог знает, когда обустроимся. Взяли все, что можно поменять на продукты. Ребенка чем-то кормить надо...

Даня смотрел на Куркотина без неприязни, но с каким-то внутренним изумлением. Но ведь есть же люди легкие, не знающие сомнений, все делающие по наитию, искренне, и все — правильно. Почему же он сам таким никогда не был?

Куркотин меж тем обрушил на него бездну ненужных подробностей, в основном на тему общего бардака и своего личного героизма. Оказалось, что товарищ Фадеев, который сам просидел в квартире всю ночь, ждал звонка из Кремля, чтобы уехать чуть ли не вместе с Молотовым в одном вагоне, поручил товарищу Куркотину искать вагон, который у писателей «отобрали», и это поручение застало Куркотина врасплох, собственно, чем и была вызвана вся эта «кутерьма», а между тем вагон-то ведь тоже не резиновый, и пока он звонил товарищу Кагановичу, просто из телефона-автомата, представьте себе, и пока добивался у железнодорожного начальства справедливости, и пока нашел начальника вокзала, набралось уже немало обиженных, ведь, по совести говоря, Даня, дорогой мой, по совести говоря, всеми этими непродуманными действиями в городе создали панику, люди готовы уже на все, один из писателей намеревался ему, Куркотину, набить морду, слава богу, обошлось без эксцессов, господа, вы не представляете, что творится с людьми в такие моменты, почему же, сказал Даня, прекрасно представляю; вагон стоял не на перроне, а на путях, почти в темноте, фонари горели очень тускло где-то там, Куркотин забрался наверх, тяжело дыша, и Даня начал передавать ему сумки, баулы, чемоданы, корзинки, внезапно Куркотин закричал кому-то там, внутри:

— Оставьте меня в покое!

Даня вздохнул и полез сам.

В вагоне — это был обычный вагон электрички, просторные деревянные сиденья, коридор, окна — в нем было уже надыхано, люди лежали на лавках, накрывшись с головой, между сиденьями ходила дама в шубе и курила, кругом были навалены тюки — все выглядело совсем не так, как Даня представлял себе, Куркотин продолжал выяснять отношения, и вдруг кто-то совсем старый, с такой же старой женой, полез на Куркотина с кулаками...

Это было невыносимо.

Он уходил, скрипя гравием, когда неожиданно его окликнул тихий женский голос в темноте.

— Даня! Спасибо вам...

Это была Рина. Он махнул ей рукой и направился к гудящему и кипящему Казанскому вокзалу. Уже наступила ночь.

Через неделю Даня отправлялся вместе с семьей с Речного вокзала. Они плыли до Нижнего Новгорода, а оттуда должны были на поезде добираться до Барнаула. Вода была холодная, серая, от реки сильно дуло.

Перед отъездом Даня сидел на кухне (все уже легли), пил чай.

Вышла соседка, Светлана Ивановна Зайтаг.

Даня посмотрел на нее внимательно.

— Уезжаете? — спросила она.

— Да, на днях... А вы?

— А я остаюсь.

— Что так?

— А куда бежать? — нахохлилась она. — Кто-то должен оставаться в Москве.

Работать в библиотеке, в школе. Выключать свет на ночь. Включать по утрам. Варить кашу.

— Было бы из чего... — вздохнул Даня.

— Найдем...

Помолчали.

— Или вы подозреваете меня в предательстве? Ведь мой отец — немец... — вдруг спросила Зайтаг.

— Какая мне разница... Нет, не подозреваю.

По наитию, не понимая сам, что делает, Даня вдруг сказал:

— А можно я вам оставлю ключи? Не пускайте, пожалуйста, никого.

Она кивнула.

— Спасибо.

— А можно я тут на кухне покурю? — вдруг спросила Зайтаг. — На улице холодно.

Семья токаря Васильева тоже собиралась уезжать вместе с заводом, тем не менее, когда Даня, Надя и дети остановились в коридоре, чтобы попрощаться, соседи вышли с каменными лицами, и Васильев сказал сурово:

— Бежите, значит? Оставляете Москву?

— Это ненадолго, — сухо ответил Каневский.

...В тот день, 16 октября, вернувшись с Казанского, он подошел к секретарю парткома Искину и спросил, что с ним будет, если он не уедет.

— Почему не уедете? — искренне удивился Искин.

— Может быть, я попрошусь на фронт, или найду работу в Москве...

— На фронт... — присвистнул Искин. — Об этом раньше надо было думать, Даниил Владимирович. Сейчас уже поздно. Нужно разворачивать производство в тылу. Это приказ Сталина. Вы меня хорошо понимаете?

Барнаул

От вокзала в Барнауле Каневским пришлось тащить вещи самим, трамвай не ходил, была какая-то авария на путях, Даня нанял носильщика и сам тоже нес чемоданы, нес медленно, часто останавливаясь. Надя, Этель, Роза и Сима смотрели вокруг с любопытством.

Темный, низенький город, с редкими отблесками светящихся витрин, если заглянуть в боковую улицу — там сразу ощущалась бесконечность: долгого поля, потом долгого неба, в которые упиралась любая улица; город был как будто затерян в степи, в космосе — это вечером, когда звезды и темно, днем же все показалось Дане уютным, деревенским и нестрашным. Однако надо было ехать на комбинат, он вышел из подъезда их нового дома, попрощавшись с Надей, — тут им, кстати говоря, обещали отдельную квартиру, но пока поселили с соседями, вышел и оглянулся на окна: Надя махала ему рукой. Дом как дом, шестиэтажный, новенький, блестел краской, сиял окнами, над каждым подъездом — звезда в колосьях, этакий медальон из алебаstra или чего-то такого, белый мягкий камень, веселые завитушки над высокой дверью, огромная высоченная, хотя и ненужная арка, над аркой застекленный переход из одной части дома в другую, дом буквой «Г». В доме жили партработники, чекисты, профессора педагогического института. Чекисты многие пошли на фронт, в их квартиры подсаживали эвакуированных, им освобождали комнаты. И это было тяжело, хотя и необходимо — здешние хозяйки принимали эту новую реальность с трудом, без всякой сознательности, без чувства локтя, присущего советскому человеку, иногда даже и разговаривать с новенькими не хотели, лед растапливали только дети, маленькие дети, их жалели, старались не обижать; к счастью, семью Дани поселили в квартиру,

где уже жили такие же эвакуированные, приехавшие чуть раньше, у них была общая судьба, и все старались относиться ко всему с пониманием. Даня так и сказал в первый вечер — давайте с пониманием, сосед, молодой товарищ, радостно закивал; бог весть, почему именно эта квартира стояла свободная, по какой такой причине, об этом Даня старался не задумываться, не хотелось знать точно, может быть, тут жила семья арестованного и расстрелянного врага народа, чекиста или инженера, пусть лучше не точно, пусть как-то расплывчато — «возможно», «скорее всего», «говорят», «может быть» — так было легче обживать эту временную жилплощадь, да и в самой квартире от прежней жизни почти ничего не осталось — новые жильцы (семья инженера Мавлевича, приехавшая из Москвы чуть раньше) все покрасили и побелили, и пахло краской, жутко пахло краской.

Мама Надя и Этель все время открывали окна, чтобы выветрить запах, а уже стояла суровая алтайская осень, приходилось накидывать пальто, на ноги тоже что-то теплое, но мучил этот запах свежей краски, соседи постоянно стучали в дверь: это у вас такой сквозняк? — сейчас-сейчас, мы закроем. Запах — главное, что мучило Этель, чужой, незнакомый запах — там, дома, на Вышеславцевом переулке в Москве, пахло лежалым, но родным, открыв ящик комода, она могла легко различить запах старых шерстяных вещей, летних платьев. Буфет весь пропах засахаренным вареньем, прошлогодним, которого уже не осталось, и шоколадными конфетами, которые Роза таскала из буфета несмотря на жесткий запрет мамы, улицы в Марьиной Роще пахли прелыми листьями осенью и весной, скрипом забора, шумом ветра, который шел от Площади Борьбы, там почему-то всегда была роза ветров, а здесь, в Барнауле, все запахи сливались для нее в один — запах беды, неизвестности, надвигающегося несчастья. Чужой город, провинциальный, нелепый, с утра она выходила из дома, чтобы убежать от этого запаха свежей краски и шла искать работу. Диплом инженера она защитить не успела, начальник вокзала устало в который раз смотрел ее документы, ему было некогда, он вздыхал, предлагал чаю, но у вас нет диплома, говорил он, как я вас оформлю, но даже если бы и был, ну я могу кассиром вас принять, вас это устроит? — в диспетчеры вы не годитесь, в инженеры путей тоже, что я могу сделать, Этель Даниловна, вздыхал он. Старый уже человек, который помнил ад на путях, когда к востоку пробивались колчаковские поезда, набитые сверх всяких норм такими же семьями эвакуированных, беженцев, которые бежали от красных и тащили за собой весь скарб прежней жизни, бесконечный скарб, ненужные пальто, ненужные украшения, ненужные книги, ненужную посуду, избавляясь от них на толкучках и получая взамен муку, домашнюю колбасу в обмен на целый патефон или хрустальный сервиз, крестьяне тогда сильно разбогатели, но ненадолго, потом начался голод уже в деревнях, он помнил, как высаживались на станции строгие военные эшелоны с белочехами, красными латышами, с пехотными полками, с военными людьми, когда не сразу можно было понять, за кого они воюют, и которые в первые же два часа, прямо в районе вокзала, расстреливали человек десять случайных людей, чтобы установить твердый порядок, он помнил таких вот нежных девушек с огромными красивыми глазами, домашних и испуганных, которых пока еще живые отцы везли на восток, чтобы там затеряться и оставить их навсегда одних, он все помнил, этот начальник вокзала, но что он мог ей сказать — Этель Даниловна, дорогая, — но она не хотела уходить, ведь он был единственным интеллигентным человеком, которого она нашла в этом городе...

— Слушайте, — говорил он ей, наливая очередной стакан чая и вспоминая военную дисциплину и становясь вдруг суровым и усталым, — слушайте, у меня больше нет на вас времени, вы не сможете здесь устроиться по специальности, а вы взрослый человек и вы должны работать, идите в больницу, в школу, в библиотеку, в райком партии, идите куда-нибудь, но не сюда.

Его мягкий подбородок, тщательно выбритый и оттого еще более мягкий, его

глаза за очками, испуганно оглядывающие ее, — это было единственное пристанище в Барнауле, дома ее ждал этот адский запах свежей краски, от которого у нее страшно болела голова, пустые комнаты, Роза и Сима ходили в школу, а Этель не знала, куда ей ходить, и она ходила к начальнику вокзала каждый день, пока отец, вернувшийся однажды с работы чуть раньше, вдруг не сказал ей:

— Шурочка, я не понимаю, чего ты там добиваешься, тебе не нужно (голос его стал тяжелым) устраиваться на железную дорогу, мы тут ненадолго, поверь, Москву отбили, скоро производства начнут возвращаться обратно, по крайней мере мы точно сможем вернуться, а если ты будешь служить на железной дороге, тебя не отпустят, иди в больницу, ты поняла меня, иди в больницу, наймись нянечкой...

И снова повторил:

— Это ненадолго.

Больница, больница, больница...

Областная больница, три корпуса целиком отдали под госпиталь, кругом сновали люди, Этель долго, скрипя снегом, ходила вокруг, не понимая, куда ей надо, наконец, нашла какую-то пожилую медсестру, та, оглядев ее с головы до пят, показала нужную дверь, где ее сразу спросили, а что вы умеете, ничего не умею, а как же вы тогда, ну хорошо, вы будете мыть полы, посуду, выносить судно за лежачими? — это вопрос? конечно, буду, а как еще?.. — как еще — действительно, а как еще? — она помыла руки, надела несвежий белый халат, вошла в нескончаемую больничную палату, коек на сорок, на восемьдесят — здесь когда-то был актовый зал, огромные окна под потолок, сливающиеся под потолком крики, она медленно шла следом за какой-то другой медсестрой, та хотела показать ей, как выносят судно, искала лежачего, а вот, смотри, новенькая, повернула его, и вдруг у него из горла хлынула кровь, етить твою мать, охнула сестра, да держи, не стой, подними его, она взяла за плечи, запах, страшный запах лекарств и залежалого тела, она поддержала его, смогла, потом что-то сказала несчастному раненому, все будет хорошо, у кого, у нее? у него? — потом пошла за сестрой к врачу, оформляться, и вдруг, уже выходя из палаты — упала...

Очнулась от громкого, неприятного, как железом по стеклу, голоса — голос выговаривал старшей медсестре, которая слабо оправдывалась, да что ж такое, да зачем вообще, без подготовки, без учебы, а мы что, а у нас людей нет, а я вам объясняю, продолжал голос, что прежде чем брать человека, нужно с ним поговорить, найти ему дело по плечу, вы же видите, девушка с образованием, а что, вам не нужны грамотные люди, ну так и скажите, она с трудом повернула голову — за столом сидел офицер, нога на ногу и важно покачивал этой ногой в сверкающем сапоге, увидев, что она очнулась, он быстро подошел и сказал:

— Вас как зовут?

— Шура... То есть Этель, по паспорту.

— Вот, Шурочка, скажите, вот вы зачем пошли к раненому? А? Если вы не умеете, зачем? Александра Семёновна вас пустила, но она ж не знала, что у вас такая реакция на вид крови, нормальная реакция, обычная, но она ж не знала, а если бы вы головой ударились? Ну как такое вообще можно допустить, пойдёмте со мной...

И вот она бежала за ним, с трудом, не поспевая, по длинному коридору, удивляясь, как быстро он ходит и почему при таком грозном, неприятном командирском голосе, уверенной стати и невероятно быстром шаге он такого маленького роста, а она его все равно не может догнать, она бежала за ним, глядя в его рыжую макушку, а иногда в смеющийся глаз, который он косил на нее, произнося очередную нелепую шутку; она их не понимала, она ничего не могла понять, что он ей говорит, и коридор был бесконечен, туда, сюда, на первый этаж, переход в другой корпус, подвал, опять лестница, опять переход, они шли и шли, потом пришли в лабораторию, ее оглушила тишина, в госпитале везде кричали или везли каталки, или что-то звенело, грохало,

стучало, а здесь тикали ходики, и все, больше ничего, стояли ряды пробирок и сидела пожилая женщина в очках, записывая что-то в тетрадь, она медленно подняла глаза и медленно улыбнулась, привет, сказала женщина неожиданное слово, которое здесь прозвучало дико, здравия желаю, скрипучим своим неприятным голосом сказал Герш Давидович и оглянулся: работаешь, Изольда? — задал он ненужный вопрос.

Впрочем, странное ощущение тишины было недолгим — начали хлопать двери, заносить новые «образцы» в металлических ящиках, здесь изучали человеческие выделения — кровь, слюну, мазок, кал, мочу, это было неприятно, но чисто, выделения изучала Изольда, женщина в очках, а еще нужно было *записывать результаты*, результаты она научилась записывать быстро; благодаря протекции Герша Давидовича она получила работу, нужную работу, нужную для людей, это было самое главное, и посильную для нее, работу, где потребовалось ее образование, человек после пяти курсов института мог записывать и запоминать все эти слова, формулы, цифры, по крайней мере, она хотела этому научиться и научилась без проблем; когда он попрощался, сказав, что еще вернется, Изольда снова медленно улыбнулась, до свиданья Герш Давидович, до свиданья Шурочка. «Шурочка?» — переспросила она сама себя, когда он уже покинул помещение.

И потекли другие дни, в этой белой комнате, с Изольдой и чернилами, которыми она заполняла журнал, чернила застывали, а карандашом запрещалось, она грела склянку в руках и снова писала, под ходики и уютные разговоры про Герша Давидовича. Герш Давидович, кстати, оказался не майором и не полковником, а старшиной медицинской службы, он вообще не работал в госпитале, а привозил сюда *своих* раненых, его медсанчасть прибыла в Барнаул на реформирование, а что это означает, спросила она Изольду, такое длинное сложное слово. Ну как тебе объяснить, дурочке, вздохнула Изольда, ну вот в полку тысяча бойцов, двести убило, сто взяли в плен, триста раненых — без ног, без рук, контуженных, кому-то повезло, они легко раненые, плечо пробило, или шею, вот они тут у нас кантуются, а полк, он что, он прибыл на пере-фор-ми-ро-ва-ние, его заново надо набирать, офицеров новых ставить, бойцы хоть немного отождутся, отоспятся, хотя спать им не дают, гонят на плац. Она ничего не понимала, зачем, куда гонят, а потом? Ну а что потом, потом обратно на фронт. Она действительно не понимала, вот этот Герш Давидович, значит, он скоро исчезнет или как? — ну не скоро, не скоро, сказала Изольда, месяц, полтора, вот так, примерно...

Потом опять уедет на фронт, да, на фронт. Начальник медсанчасти, начальник медсанчасти, повторяла она про себя.

Герш Давидович снимал комнату в городе, у него было такое право — жить не в казарме, он снимал комнату в большой коммунальной квартире, у него были свой стол на кухне и свой ключ, которым он отпирал квартиру. В часы досуга, а они были очень редки, они с Шурочкой гуляли по центру города, мимо дома с башенкой, в котором был гастроном, туда можно было зайти, попить кофейный напиток с молоком, они заходили и пили, чтобы согреться, съедали булочку, пирожных не было, а булочки все же были, Шурочка, послушайте, говорил он горячо, но вы же понимаете, что это судьба, ну да, она понимала, краснея, конечно, судьба, а что же еще?

Запах краски в новом доме она чувствовать перестала. Да и приходила очень поздно.

— Что тебя там так задерживают? — возмущалась мама.

Этель предательски краснела, но этого почему-то никто не замечал.

Конечно, поле для маневра у Герша Давидовича было, прямо скажем, не очень велико, и это прекрасно понимали они оба — работы в госпитале не убавлялось, а прибавлялось, ей же приходилось и нянечек подменять, и даже сестер (с трудом, но как-то она привыкла к виду бинтов и крови), но все-таки иногда удавалось выкроить

пару вечерних часов. Однако старшина медицинской службы скорее рассчитывал на день, на это тихое и как бы совершенно безобидное время суток, когда человеку положен обед, а если он не очень хочет рассиживаться за тарелкой, можно и погулять.

Наступили мартовские солнечные дни, мороз стоял градусов около двадцати, все блестело и сияло, в парке культуры и отдыха можно было провести не менее часа — здесь продавали горячий чай в ларьке, да и вообще было красиво и тихо меж памятников и обелисков героям революции и культурными деревьями.

Здесь и состоялся важный разговор, который она запомнила почти дословно и на всю жизнь.

— Знаете, Шурочка... — задумчиво сказал Герш Давидович. — Возможно, что я вам не подхожу, вернее, возможно, что вы или ваши родители могут считать, что я вам не подхожу, потому что вы московская барышня с высшим образованием, красивая, как сама Венера...

Она кинула в него снежком и засмеялась. Тон у него был веселый. Но постепенно, постепенно она начала краснеть все больше.

— Но понимаете, это только на первый взгляд. Дело в том, что я буду вас любить всю жизнь, а это, поверьте мне, не так уж часто бывает. Всю жизнь я буду вам благодарен за то, что вы согласились...

— Вы что, делаете мне предложение? С ума сошли? — закричала она возмущенно.

— Да нет, что вы, — с поклоном ответил он. — Я просто выясняю наши отношения. Так вот, я буду любить вас всю жизнь, но что самое главное и гораздо более ценное, поверьте мне, дорогая Шурочка, я всю жизнь буду говорить вам правду и только правду, так уж я устроен...

— Ну, хватит, — приказала она.

— Конечно, хватит... — грустно согласился он. — Послушайте, конечно, вы правы, для того, чтобы на вас жениться, мне еще предстоит большой путь, и для этого, для начала, надо еще вернуться с фронта. Но вот ведь какое дело, на фронт я уезжаю довольно скоро, а в театре мы с вами еще даже не были!

Так он наметил этот день — когда они, вполне официально, отправились на свидание.

Мама, впрочем, долго сопротивлялась.

— А можно я сначала на него посмотрю, прежде чем отпускать тебя куда-то на весь вечер в незнакомом городе? — едко вопрошала она.

— Нельзя! — кричала Этель. — Он занят! Идет война! Он с ранеными!

— Тогда не пуцу!

— Нет пустишь!

Пришел с работы папа Даня и тоже сказал, что хотел бы своими глазами взглянуть на человека, который нашел в Барнауле театр.

— А что такого? Сейчас все театры эвакуированные! — не сдавалась она. — Из Москвы, из Ленинграда, из Одессы, из Киева!

— А здешний откуда?

— Не знаю! Это не имеет значения!

— Имеет!

Так они могли кричать друг на друга целый вечер. Роза ей страшно завидовала, а младший брат Сима молчал. Он очень не любил, когда кричат.

И действительно, коллектив, дававший драматические представления в Доме культуры имени Дзержинского (в областном драмтеатре давали оперы) — был на восемьдесят процентов эвакуированный коллектив из Советской Белоруссии, из города Витебска. Гершу Давидовичу удалось достать два билета на «Любовь Яровую».

Все было прекрасно — сверкающая люстра среди белых колонн в фойе, буфет

с газировкой, глаза болели от золотых звезд, фуражек и орденов — на переформировании в Барнауле было немало частей, и множество офицеров пригласили своих дам в театр, все сверкало и блестело, но когда начался спектакль и погас в зале свет, и вышли артисты на сцену — после пяти минут восторга и счастья Этель вдруг почувствовала легкое разочарование: прима была напыщенной, толстой и староватой, зал вежливо молчал, когда белые и красные произносили известные реплики и монологи, *та* война была уже в прошлом, и очень хотелось что-то посмотреть и послушать про войну новую, про сегодняшнюю их жизнь. Герш Давидович чутко уловил настроение спутницы и тихо предложил ей покинуть дом культуры имени Дзержинского уже в антракте.

— Да вы что? — изумилась она. — А вдруг во втором акте будет интересно?

— Погода хорошая... — пожал он плечами. — А я же вижу, вам скучно...

— Все-то вы видите, — засмеялась она.

Они медленно шли по улице, наслаждаясь внезапной свободой. Вот сейчас, именно в эту минуту, никто их нигде не ждал, никто не искал. Это было так здорово. Вокруг были огромные, просто огромные белые сугробы.

— Слушайте, — решительно сказал Герш Давидович. — А давайте зайдем ко мне? Нет, правда. У меня уютно. Торшер, кресло. Есть даже шампанское.

— Ну... если это недалеко, — вдруг сказала Этель и сама себе поразилась.

Вот так все это и случилось. Они болтали, хохотали, незаметно выпили бутылку шампанского, она погладила его по голове, он припал к ее коленям, и все произошло ну, буквально так, как она себе и представляла (что было очень важно), — без суеты и спешки, но и без церемоний, естественно и свободно, что тоже было важно, все остальное она представляла себе не так — квартира была ужасная, стены обшарпанные, диван скрипучий, но торшер был, шампанское было, мягкое кресло было, и главное — было ощущение, что это не дурной сон, что к ней вернулась ее собственная жизнь, в которой она сама себе хозяйка! Этель пришла домой взволнованная, но довольная, долго пересказывала маме спектакль, который благодаря радиопостановкам знала наизусть, описывала актеров, зал, декорации и обещала привести Герша Давидовича домой в ближайшее воскресенье, если у него будет выходной.

Но в ближайшую субботу, то есть через три дня, Герш Давидович, старшина медицинской службы, отправился на фронт вместе со своей частью.

Они даже не успели попрощаться.

Этель прорыдала весь день и всю ночь, дома и на работе, на улице и в столовой, а когда отрыдалась, мать прижала ее в углу и твердо спросила: что у вас было?

Отпираться уже не было сил.

Ну, было и было, в конце концов, война. Мало ли что бывает, но с этих пор мать стала за ней пристально следить и на первых же признаках токсикоза потащила ее в поликлинику.

Врачиха, пожилая седая женщина с усталым взглядом, все подтвердила.

— Ну как же вы так, лапочка? — укоризненно, хотя и ласково, спросила она.

Мать холодно молчала, не проронив ни слова. Вместе они вышли из кабинета, Этель — понурившись и поникнув, мать с гордо поднятой головой.

— Будешь рожать, поняла? — сказала она, когда они оказались дома.

Аборты, кстати, были запрещены по закону, но многие выходили из положения, договаривались с врачами, те писали липовые заключения о патологии, а кто-то рисковал обращаться к бабкам-повитухам, жизнь, как говорится, продолжалась и во время войны, но все эти варианты были матерью строго отмечены — что называется с порога.

— Будешь рожать, и точка, — сказала она, и стала что-то записывать в старую тетрадку с рецептами, где еще оставалось несколько чистых листов.

...Теперь Этель жила по часам.

Еще три месяца она работала в госпитале, стараясь не поднимать тяжести (это не всегда получалось), уходила ровно во столько, во сколько предписывало ей расписание, медленно и долго шла по улице, дыша свежим воздухом, в обед ела кашу с тыквой, принесенную из дома в баночке, это пока был единственный «фрукт», который можно было найти в Барнауле, ровно через три месяца мать заставила ее написать заявление об уходе, и теперь она гуляла в день по четыре часа, ела четыре раза в день (неважно что, что-нибудь «свежее и горячее», как говорила мать, — щи из кислой капусты, картофельные драники, если повезет — творог), и слушала классическую музыку.

От драников, от четырехчасовых прогулок, от классической музыки она вскоре очень устала, как будто от работы в госпитале в ночную смену, мама, но я же не раб на галерах, говорила она, хочется просто поваляться, поесть мороженое, мать смотрела на нее все тем же холодным взглядом, теперь, говорила она, все будет по-моему, а не по-твоему, поняла, ну а как по-твоему, а вот так, ты должна заботиться о своем здоровье, значит, будешь. Во всем этом была какая-то безысходность, эта безысходность опускалась на нее, как темная ночь, как только она утром открывала глаза, с трудом вставала и шла в туалет умываться, несмотря на прогулки, творог и драники, несмотря на сверкающую чистоту кругом, несмотря на заботу окружающих и их безусловную любовь, ее тошнило от этой безысходности, это был не токсикоз, но ее тошнило, от самой себя и своей жизни, от этих стыдных походов к врачу, от взглядов на улице. Всем вокруг, как казалось ей, была очевидна ее история, она с ужасом смотрела на свой полнеющий живот и думала, что же будет дальше, и так продолжалось до жаркого алтайского июля, а в жарком алтайском июле случилось чудо — Герш Давидович прислал письмо!

В письме он просил прощения за долгое молчание, связанное с боями и переброской их части с одного участка фронта на другой, говорил, что очень скучает, верит и надеется на новую встречу.

Письмо читали всей семьей, включая Симу и Розу.

— Надо ему написать! — твердо сказала Роза.

— Ни в коем случае! — твердо ответила мать.

— Мама, мама, но почему? — запротестовала Роза. Розу всегда поддерживал Даня, но в данном случае он молчал. («Мнение отца в данном случае не имеет решающего значения», — как высказался он позднее.) — Он должен взять увольнительную, он должен приехать! Мы должны, наконец, его увидеть!

— Обойдемся — сказала мать и пошла на кухню готовить драники по расписанию.

Что касается Шурочки, в душе ее все пело, она не хотела ни с кем ничего обсуждать, она не могла дождаться того момента, когда ее, наконец, как какую-то корову, накормят драниками и творогом и она сможет написать ответ.

«Дорогой Гера! — писала она, пытаясь от волнения не сделать кляксу. — Очень рада вашему письму, хотя, не скрою, эти три месяца были для меня довольно тяжелыми... (Она поставила три точки, надеясь, что он, интеллигентный человек, медик, все-таки догадается, что именно она хотела скрыть в этих трех точках — нет, не беременность, а что-то другое, другое, совсем другое). Из госпиталя я уволилась (нарек? нет), теперь все мы ждем возвращения домой, в Москву, и будем рады вашему визиту, и хотя мама и папа вас не знают, они будут страшно рады познакомиться и увидеть нашего храброго фронтовика (ирония? нет) — я тоже скучаю и, когда прохожу мимо Дома культуры имени Дзержинского, вспоминаю многое, очень многое, вспоминаю вас и думаю, что эта встреча была не случайной. Берегите себя. Что вам прислать? Ваша Этель».

Письмо было коротким (на длинное у нее не хватило бы сил), но нежным. Именно так, как нужно.

Она в тот же день кинула его в почтовый ящик, а письмо Герша Давидовича всегда носила с собой, чтобы мама, не дай бог, не выкрала и не написала ему глупостей.

Впрочем, вряд ли она была на такое способна...

Теперь ей нравилось все.

Ей нравился даже Барнаул — тихий деревянный город, затерянный среди огромных степей, с шумной базарной площадью, куда мама отправлялась каждое утро за *свежими* продуктами (господи, какие там были продукты, картошка, да и та втридорога, на мясо у них просто не хватило бы денег) — ей нравилась улица Ленина с новыми каменными домами, с этими странными ненужными арками и стеклянными переходами, алебастровыми звездами в колосьях над подъездами, новая архитектура, стремительная, как Герш Давидович, ей нравилась мамина еда, *чистая еда*, это самое главное, что еда была чистой, хотя что именно она под этим имела в виду, она даже не могла бы себе объяснить, ей нравились толчки в живот, и сам живот, ей нравились прогулки по парку, где они когда-то гуляли вместе, ей нравилось вычислять, когда она получит ответ, а в ответе она нисколько не сомневалась, а в сентябре, когда пошел уже седьмой месяц ее беременности, семья засобиравшись домой, папа оформил вызов, предприятия легкой промышленности возвращались в Москву, он списался с соседями по дому в Москве, с домоуправлением, взял билеты, и она в последний раз пошла к врачу в женскую консультацию.

Это была та самая старая седая женщина, которая принимала ее в первый раз. Звали ее Тамара Георгиевна. Теперь Этель поняла, что именно ей не понравилось: врача явно сама страдала — от болезней, от какого-то личного горя, бог весть, и это отражалось в ее взгляде — ну что ж, всем сейчас тяжело, и надо пожалеть человека, а не таить неприязнь.

— Уезжаете? — с каким-то облегчением спросила она мать. (Мать всегда заходила в кабинет вместе с ней, это даже не обсуждалось, и врачи тоже принимали это как данность). — Ну что, это хорошо, в Москве медицина посильнее нашей. В том числе гинекология. Ну, давайте посмотрим.

Осмотр оказался неожиданно долгим и даже слегка болезненным. Этель устала.

— Вы знаете... — тревожным голосом сказала Тамара Георгиевна. — Я должна вас немного огорчить.

Мать побледнела.

— Вы только не волнуйтесь, но... плод пока не перевернулся. Пока еще рано говорить, но... велика вероятность того, что он выйдет ножками.

— Как ножками?

— Ну... обычно к седьмому все нормально уже, но, конечно, возможны исключения. Вы главное, не волнуйтесь.

— Можно мне попить? — тяжело дыша, спросила мать. И вдруг тихо заплакала.

Этель было стыдно. Она покраснела от стыда.

— Мама, мама, ну что ты?

Я знала, — твердо сказала мать, справившись с собой, — я знала, что все пойдет не так, это было ясно с самого начала, стойте, сказала Тамара Георгиевна, что значит не так, в остальном все в порядке, ну что в порядке? — я вообще ничего не могу понять, сказала Этель, какая разница, как он пойдет, лишь бы пошел, они обе посмотрели на нее, как на полную идиотку.

— У тебя будут тяжелые роды, дура! Понимаешь? — сказала мать и отвернулась.

Они долго молчали, все трое, по-разному переживая случившееся.

— Но вы знаете... — несмело сказала Тамара Георгиевна, поправляя механически

седую челку, и вдруг стала безумно симпатичной. — Даже если он и дальше не перевернется... Есть один способ... Курага. И кукурузная каша.

— Что? — тихо спросила мать. — Что вы сказали?

— Другие врачи, возможно, вам этого не скажут, но поверьте мне, у меня большой опыт. Да, это простое средство, но оно помогает. Каждый день стакан кураги. Каждый день. Полстакана утром, полстакана вечером. И кукурузная каша.

— Но где же мы ее возьмем... — сказала мать. — Сейчас война.

— Здесь нигде... — ответила Тамара Георгиевна. — По крайней мере, в таких количествах. А в Москве — попробуйте.

И вдруг спросила:

— Вы не курите?

— Нет... — растерянно сказала мать. — А что?

— Пойдемте покурим, — решительно сказала врачиха, и они надолго ушли.

Этель осталась одна.

Она смотрела, лежа на кушетке, на белый потолок, стеклянные дверцы шкафчиков, отрывной календарь на стене, выкрашенный белой масляной краской подоконник, залитое дождем оконное стекло и пыталась представить — как же это так, ножками? Почему это страшно?

И еще пыталась представить себе эту мокрую голову, вылезающую из нее.

Курага, таким образом, превратилась в идефикс этой семьи, как только поезд тронулся с вокзала в Барнауле.

Уже на станциях, где были долгие многочасовые остановки, хотя, конечно, мало что напоминало железнодорожный хаос начала войны — мама посылала отца за курагой, «спросить у крестьян». Даня злился, но шел.

— Мама, что ты его мучаешь? — говорила Этель, задумчиво глядя в окно поезда. — Во-первых, какие тут крестьяне? Во-вторых, какая тут курага?

Она вообще, если честно, плохо помнила — что такое курага.

В Москве в это время была поздняя осень. Мама пошла на рынок и вернулась обескураженная. Фрукты никто не продавал. Продавали все остальное: платья, светильники и торшеры, сигареты, масло, крупы, швейные машинки, пишущие машинки, подштанники (кальсоны), бюстгальтеры, туфли, жакеты, комоды, лошадей, кошек, подсвечники, свечи, пружины, моторы, велосипеды, снова табак и снова сигареты, американскую тушенку, любые другие консервы, крупы, масло, но нигде не было видно ни яблок, ни винограда.

— Откуда им взяться, подумай сама? — горько сказал отец. Надежды на курагу таяли. Роза взяла в библиотеке толстый медицинский справочник и начала читать про кесарево сечение, ей было интересно, что будут делать со старшей сестрой.

— Не может быть... — повторяла мама Надя, лежа в темноте с открытыми глазами и не давала Дане спать. — Не может быть, чтобы ее не было. Мы же в Москве. Мы же не в Барнауле.

Пожалуй, самым огромным рынком в Москве в ту пору был Центральный. В те осенние дни сорок третьего года он раскинулся на протяжении всего Цветного бульвара и даже дальше, на Трубную площадь. Даня отправился туда, спустившись по Самотеке, в воскресенье с самого раннего утра.

В принципе, как и все советские люди, Даня не любил торгашей, спекулянтов и так далее. Он помнил это чувство со времен Гражданской войны — «мешочники», называли их тогда, на самом деле это были крестьяне, которые пытались прокормить свои семьи, путешествуя часто без билетов на крышах вагонов, они вызывали у людей всеобщую ненависть и подозрение, часто их грабили, убивали, но они упорно возили

на рынок, кто чем был богат — сало, муку, копченую рыбу, хмурые, затравленные, готовые на все что угодно, чтобы только выжить...

Он, тогда молодой и посвященный в великие тайны строительства новой жизни, вообще не понимал, как можно наживаться на голоде других — ну ладно, сам жри, семью корми, соседям, я не знаю, помогай, но наживаться на беде? Потом, попав в хлебозаготовительную контору, он взглянул на это иначе.

...Все это куда-то давно ушло, сгинуло, одна волна бесконечных улучшений и прекрасных преобразований сменялась другой, пока все не уперлось в войну, и кто бы теперь знал, как искал, как надеялся Даня найти на рынке, раскинувшемся на грубо сколоченных деревянных столах, вот этих прежних «мешочников», этих злых крестьянских торговцев — была ему нужна всего лишь курага, но она для него теперь была на вес золота.

Здесь было мясо, был хлеб, иногда масло и молоко, все втридорога, крупа, мука, овес, гречка, табак — все по баснословным ценам, но в основном торговали старьем — старые башмаки, тут же сидели сапожники и ставили новые подметки, резали каблуки.

Ничего похожего на прежний рынок, конечно, не было.

Даня тем не менее не торопился уходить. Он понимал, что такой товар — сушеные фрукты, абрикосы — нужно поискать, да и к тому же ему был нужен целый мешок, а это в принципе уже состояние, которым он, конечно же, не обладал.

Он начал разговаривать с людьми.

— Неужели ничего такого не привозите? — ожесточенно спрашивал он узбека в грязном халате, который сидел на разломанном табурете у мешка с воблой.

— Привозим, конечно, — сказал узбек. — Колхоз же работает. Но все через торговую базу, уважаемый. Все для правительства.

— Для кого? — не понял Даня.

— Для правительства, уважаемый... — вежливо пояснил узбек.

Даня посмотрел на узбека.

Тот сидел, улыбаясь. Странно вообще, как его пропустили в Москву. Строгие посты, город в кольце оцепления, комендантский час. Но он же проехал!

— А еще тут твои есть? — вдруг вяло спросил Даня.

— Посмотри вон там, — лениво махнул узбек рукой в сторону Сандунов, и Даню осенило.

Медленным шагом он дошел до середины бульвара и там увидел кучку людей в халатах.

— Салям, уважаемые! — сказал он вежливо.

Они обернулись.

— Помощь ваша нужна...

Узбеки внимательно смотрели на него. Один улыбнулся одобрительно. Сверкнул золотой зуб.

— У меня дочь... На сносях, ребенка ждет... Ей доктор прописал... Сушеный абрикос, курага. Не знаете, где достать?

Они зацокали, стали быстро разговаривать друг с другом.

Один сказал:

— Дорого уважаемый, очень дорого сейчас абрикос.

— Я заплачу... — сказал Даня.

— Ну хорошо.

Подошел еще один узбек, уже в цивильном костюме.

У всех узбеков под халаты были подоткнуты шерстяные кофты, на ногах что-то вроде валенок.

Этот был в ботинках и пальто.

— Пойдем, — сказал он. — Деньги с собой?

— Да... — твердо ответил Даня.

Они долго шли, и Даня уже не знал, что это все значит и куда они идут, но минут через двадцать они зашли с черного хода в «Метрополь», и Даня оказался на кухне ресторана, где его встретил еще один узбек, по виду повар.

— Сколько нужно тебе, уважаемый? — четко спросил он.

— Сколько можете дать? Килограмм?

— Полкило могу. Только для твоей дочери.

И назвал сумму, которая была у Дани. Назвал ровно, до рубля.

Это был какой-то знак свыше.

— Через неделю могу прийти? — спросил Даня, забирая кулек и отсчитывая купюры.

Они еще посоветовались на своем языке — с тем, в пальто и ботинках.

— Приходи. Спроси Сулейманова, Сулеймана Владимировича. Это я.

Теперь Даня шел по центру города — мимо ЦУМа, мимо Малого и Большого театров, в толпе прохожих, бережно держа в руках кулек с курагой.

Он, конечно, не знал, поможет ли курага ребенку перевернуться во чреве, но так же, как и вся семья, верил в ее волшебную, целебную силу.

Что-то было во всем этом сказочное, и он улыбался. Улыбался сам себе, не по обязанности, а сам себе, это было с ним впервые за долгое время.

Слава богу, что они вернулись во второй половине сорок третьего года, когда появился ленд-лиз. Эти банки с американской тушенкой, консервированной ветчиной, эта кукурузная крупа и яичный порошок, который можно было перевозить в мешках, многих спасли от голодной смерти в те месяцы.

Москва сидела на голодном пайке.

Первые вернувшиеся из эвакуации жители горько пожалели о том, что так поторопились. Конечно, и в эвакуации было несладко, но здесь было плохо совсем.

Бабушка Владимира Николаевича Н., с которым Даня говорил много позже после войны, собирала лебеду по дороге на работу, они жили на Ткацкой улице, у старинной Семёновской мануфактуры, которая постепенно возвращалась в Москву и расконсервировала производство, а пайки были такие, что бабушка, половину пайка отдававшая внуку, опухла, все тело ее покрылось чирьями, она умирала, и лебеда (лепешки с лебедой, летняя еда москвичей) не спасала, и когда бабушку отвезли в больницу на Соколиную гору и уже начали думать, где хоронить — появился ленд-лиз, стали торговать консервами на рынке, да и в пайках его понемногу стали давать, и бабушка, впервые откушав консервированной ветчины, тут же воскресла.

Этот рассказ, как понял Даня гораздо позднее, был типичен для многих москвичей.

Люди умирали от недоедания на фронте, в тылу, в колхозах, на фабриках и заводах. Умирали не все, а те, у кого организм не выдерживал слишком скудного рациона, слабые, старые, дети, остальные как-то дотянули до лета сорок третьего, до поворота в войне.

Но умирали они и потом.

Даня шел с драгоценным пакетиком в руках, ощущая это как чудо и в то же время как преступление. Потому что все остальные голодали, а он *искал курагу*, но он знал, что делает, может быть, одно из лучших дел в своей жизни, спасая только что зародившуюся новую жизнь.

Между тем ситуация с голодом, как и со всем остальным, была неоднозначной, прямо скажем, совсем не однозначной.

Везде, в разных местах, на разных участках фронта, в тылу, все было по-разному.

Голод и относительная сытость не распространялись равномерно, они текли, как горячая лава или как грязевой сель с горы, затекая в одни прорехи и минуя другие.

В хорошие дни на фронте солдатам в окопы подвозили горячую кашу, сто граммов спирта, хлеб и даже тушенку, в другие дни они драли кору с деревьев или пытались хоть что-то найти у окончательно обезумевших крестьян — хотя бы горсть муки на дне старого мешка.

В штабе армии между тем исправно варили на обед горячий борщ и нарезали ломтики сала на бутерброды. В любые дни, что бы ни было — наступление, отступление, — если штаб был на месте, кухня работала на совесть.

Ординарцы находили для любимого командира из-под земли и картошку, и мясо.

В колхозах Урала, Сибири, Алтая, которые отправляли «на фронт», то есть в центр, в Москву, свой хлеб поездами, женщины и дети, которые тогда сами впрягались в плуг вместо лошадей, могли падать от усталости и от голода (хотя огород все же поддерживал), в те же самые дни в Ленинграде были случаи людоедства, но в Москве можно было достать все, что угодно.

Да, за бешеные деньги. Да, с риском попасть в тюрьму. Но достать можно было всё.

Первого пакетика кураги им хватило ровно на неделю. Мать бережно вынула самый маленький стакан из старого буфета — пусть маленький, но главное, чтобы стакан в день. Даня подумал и начал искать знакомых в системе общепита. Знакомых не было, но у знакомых были знакомые, у которых были знакомые — и очень скоро ему открылась общая картина продовольственного снабжения столицы нашей Родины, которая, конечно, его потрясла.

Трудно было даже осознать масштаб и направление потоков ценнейшего продовольствия (в те годы просто золотого), которые проходили через эту систему. Каждый день через эти тайные потоки (тайные трубы) проходили центнеры икры, вырезки, балыка, винограда и клубники, конфет и пирожных, чая и кофе.

Ему не нужно было даже ничего анализировать, наводить справки и подсчитывать. Все было понятно и так — достаточно было сопоставить факты.

В Москве, еще недавно сидевшей на осадном положении, в Москве, где скучная еда была только по карточкам, — вдруг открылся громадный «коммерческий сектор». Сотни кафе и ресторанов, сотни рюмочных и пивных (эти теперь были на каждом шагу, лишь у них, на Октябрьской улице, таких точек было две), открывались «коммерческие» отделы и в продовольственных магазинах и гастрономах. Если до войны в так называемых «торгсинах» продавались за валюту деликатесы, то сейчас это были обычные консервы и продукты — за деньги, причем за огромные. Правительство продолжало любыми средствами изымать лишние деньги у населения, чтобы не допустить инфляции и поддержать торговлю. К этой же системе внутренних правил относил Даня и рыночную вольницу, вольготно расположившуюся на улицах Москвы. Был громадный рынок на Сенной (ныне Смоленской), громадные рынки на Арбате, на Сухаревской площади, на Сушэвке. А чтобы было на что сходить в рюмочную или в коммерческий ресторан, купить полкило колбасы в коммерческом отделе, москвичи шли на рынок, надеясь обменять и продать свои вещи. И получить деньги. Милиция могла, таким образом, спокойно ловить на рынках скупщиков краденого (с квартирными «малинами» она жестко боролась) и контролировать весь процесс «спекуляции» с помощью небольшого количества шпиков и постовых милиционеров.

Увы, к своему стыду он не мог почувствовать в себе ни капли классовой ненависти ко всем этим торгашам. Больше того, в нем шевелилось странное, нелепое чувство благодарности...

...Вскоре Даня выяснил, что таким сложным путем, как в первый раз, с черного хода шикарного ресторана, получать курагу вовсе не обязательно.

В принципе, она была. Иногда — в коммерческом отделе продуктового магазина, и тогда, позвонив на торговую базу, он мчался по указанному адресу, иногда в обычной столовой, иногда в закрытой столовой какого-то учреждения, в буфете, иногда там, иногда здесь — курагу удавалось купить по относительно невысоким ценам.

Тем не менее, эти деньги откуда-то надо было брать. Приходилось ограничивать себя, приходилось экономить, приходилось продавать что-то последнее, что еще не продали во время эвакуации (в ход пошли дорогие батистовые скатерти, например), — к счастью, вся эта история заняла всего лишь три месяца.

Перебоев с курагой у них в Москве не было.

Под пристальными взглядами родных Этель исправно, беспрекословно ела этот фрукт (сушеную курагу пару часов размачивали в воде) — и верила в чудо.

Во сне Даня видел, как переворачивается в утробе матери этот ребенок, его будущий внук, и это было похоже на то, что испытывал он, ныряя в воду, прыгая в нее с валуна, в соленую воду Чёрного моря когда-то давно, тело его и голова как будто съеживались под напором — и он бессознательно совершал лихорадочные движения руками и ногами, как какая-то нелепая каракатица, чтобы перевернуться...

Вот так и он там, только не в Чёрном море, а в каком-то другом, в другом море, в другой влаге, таинственной влаге жизни — Даня просыпался в холодном поту, накидывал халат и шел на кухню. Там курила Зайтаг. Она теперь спала, хотя и мало, редко. Этого ей хватало.

Однажды он спросил:

— Вам не нужно кураги? Я могу достать...

Она посмотрела на него мягко и улыбнулась:

— Спасибо, Даня. Спасибо, нет.

Зайтаг всеми правдами и неправдами сохранила их жилплощадь от гнусных посягательств домоуправления, и Даня очень хотел отблагодарить ее, но все не знал, как...

Однажды она поняла это и сказала:

— Не нужно меня благодарить. Я лицо заинтересованное. Я не хотела никаких новых соседей, для меня это было бы чересчур.

Долго спорили, где рожать.

Сама Этель хотела у Арбатских ворот (роддом Грауэрмана), но мама настояла на другом — роддоме у Никитских ворот, где работала ее давняя соученица, еще по городу Николаеву, теперь она была солидным, известным на всю Москву акушером-гинекологом.

За две недели до родов они пришли на консультацию.

Плод перевернулся. Благодаря кураге или пришло время — уже не имело никакого значения.

А в мае сорок четвертого года в Москву приехал Герш Давидович, перед этим они много переписывались с Шурочкой, и он знал, что ребенку уже три месяца. Командировка была короткая, на три дня.

— Здравствуйте, Этель Даниловна! — сказал он, стоя на пороге комнаты в своей серой армейской шинели. — Здравствуйте, Абрам Гершевич! — обратился он к ребенку. — Здравствуйте все! — сказал он, и начал вынимать из вещмешка продукты, аккуратной горкой складывая их на стол.

Даня и Надя смотрели на него молча, пытаясь понять, что это за человек.

(Окончание в следующем номере)